

★ Даниил КАЛИНИН ★

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ



Война. Штрафбат. Они сражались за Родину

Даниил Калинин

На последнем рубеже

«Яуза»

2019

УДК 94
ББК 63.3(0)

Калинин Д. С.

На последнем рубеже / Д. С. Калинин — «Яуза», 2019 — (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину)

ISBN 978-5-00155-045-7

Декабрь сорок первого года, южный фас Московской битвы. Немцы прорываются к древнему Ельцу, чтобы перерезать снабжение столицы с Кубани и Кавказа. Фронт держат дивизии по 300 активных штыков и танковые бригады по 12 исправных танков. Но именно здесь проходит один из тех рубежей обороны, который принято называть последним, который нельзя сдавать. Пехотинец, сражающийся за свою любовь, танкист, люто ненавидящий фрицев, артиллерист, который обрёл веру на войне и взводный лейтенант, потомственный военный, для которого служение Родине является главной целью в жизни... Хватит ли им мужества и умения устоять перед врагом? Роман основан на реальных событиях.

УДК 94
ББК 63.3(0)

ISBN 978-5-00155-045-7

© Калинин Д. С., 2019
© Яуза, 2019

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35



Они сражались за Родину!

Даниил Калинин На последнем рубеже

Часть первая ОБОРОНА ГОРОДА

Глава 1

3 декабря 1941 года.

Железнодорожная станция Елец.

Рядовой 507-го полка 148 стрелковой дивизии Алексей Белов.

...Близкий удар пули поднимает фонтанчик снега. Искрящиеся на солнце льдинки больно бьют по глазам, и я рефлекторно вжимаюсь в ячейку.

Норки. Мышинные норки, которые не везде удалось связать узкими ходами сообщений. В частности, мою.

Потому сейчас я один. ОДИН. Мне не перед кем храбриться, никто меня не поддержит и не окрикет. И я могу честно признаться себе, что боюсь. Что очень сильно боюсь.

Тяжёлый удар артиллерийского снаряда сотрясает землю. С бруствера на шинель сыплются комья мёрзлой земли и грязный снег; он попадает за воротник. Но я не чувствую холода. Я вообще ничего не чувствую, только пытаюсь сжаться ещё сильнее.

Земля дрожит под тяжестью приближающихся танков. Их всего два. *Всего...* Я мог так думать до сегодняшнего дня, пока Митьку Архипова с расчётом не накрыл первый же выстрел долбаного фрица! Единственный в роте станковый «максим», гордость сержанта... Больно он большой, да и громоздкий щиток уверенно выдаёт позицию пулемётчика.

Неимоверным усилием воли заставляю себя приподняться. Только на уровень глаз, чтобы увидеть противника.

Вот же!.. Они уже совсем близко. Метров пятьсот, не больше.

Какой противный свист у этих мин! Совсем рядом со мной взрывается один такой подарочек; некоторые бойцы называют его «огурцом». Вроде и небольшой снаряд, но старожилы дивизии, успевшие повоевать в Белоруссии и под Смоленском, больше всех ненавидят именно миномётчиков с их «огурцами». Ну, после «лаптёжников», конечно. Уж больно часто сыпят – с боеприпасами у немцев порядок, не то что у нас.

А между тем фрицы из своих «самоваров» начинают нас конкретно давить. Свист становится нестерпимым; он словно ледяная змея, что забирается за шиворот, – противно, и достать никак не получается.

Негромкие хлопки вокруг меня бьют словно кнутом. В ответ раздаются матюки храбрых пацанов... и первые крики боли.

Я снова прячусь в стрелковой ячейке. И какой дурак решил копать их вместо окопов?! Там-то ты не один, там ты чувствуешь плечо товарища; там гораздо легче бороться с ужасом, что охватывает новичка в первую схватку.

Но, между тем, не видеть врага ещё страшнее. Нет, не храбрость заставляет меня снова приподняться над бруствером, нет. Просто умереть вот так, сжавшись в комок и видя лишь раскисший чернозём, перемешанный со снегом, – это даже хуже, чем поймать случайную пулю.

Однако, увидев противника ещё раз, я вновь закрываю глаза. Надеюсь воскресить в памяти хоть что-то, что на секунду затмит картину наступающих по снежному полю фрицев: пехотинцев, расчёты орудий, толкающие перед собой мелкие, но точные и скорострельные пушечки, две громадины танков...

– Лёша, Лёшенька... ну остановись! Нельзя же!

– Ань... Меня завтра забирают на фронт. Там война! Ты понимаешь, что после уже ничего, может, и не будет? Меня не будет!

– Лёша... Лёшенька... Милый...

Горячие, полные губы девушки, солёные от слёз жалости и стыда, наконец-то отвечают на мои требовательные поцелуи. Руки бешено хватают нежную девичью плоть, упругую и горячую, даже обжигают. Восторг первой близости заполняет сознание... Я будто не слышу её вскрика, лишь крепче сжимая дрожащую девчонку в объятьях...

...– Что, опробовал девку? Колись, Лёха! Хороша Анютка-то, а?! Может, и нам обломится?!

Лошадиный гогот земляков, призванных со мной в одну роту, заставляет до боли сжать пальцы в кулаки. Но вместо того, чтобы дать в рыло зубоскалу, высмеивающему мой горделивый рассказ (я-де теперь мужик, теперь и помирать не страшно), отвечаю лишь гаденькой улыбкой:

– Хороша...

А ведь Витька сам за Анькой увивался, и в его злой похабщине сквозит боль. Может, он даже её любил, но она предпочла гулять со мной, и на деревенских танцах меня выбирала. Хотя я сох по Ксюхе.

Но сейчас на душе гадко, будто в дерьме извалялся. И за себя, не сумевшего своё хвастовство над обманутой девкой скрыть (да хоть бы по-мужски за неё заступиться!), и за Витьку, что любовь свою не сберег, а теперь, видно, решил, отомстить...

Очередная вспышка злости и запоздалого раскаяния на секунду меня отрезвляет. Я будто смотрю на себя со стороны: маленький, трясущийся, жалкий... Конечно, красивая и умная Ксюшка не смотрела в мою сторону – видела, что я за птица. А Анька, может, и видела, но жалела. Или ещё что – любовь зла, сердцу не прикажешь. И чем я ей отплатил? Опозорил незамужнюю девку, убедив, что могу умереть.

Да, могу! Но и Витька может. И вся рота моя может сегодня погибнуть, и весь батальон, и даже весь 507-й стрелковый полк в полном составе. И погибнет, если каждый боец будет жаться на дне ячейки, не в силах и раза выстрелить по врагу!

Больно. Внутри вдруг стало больно, словно судорогой всё нутро свело. А по щекам побежало горячее. Провожу по коже грязной рукой – слёзы! Заплакал заяц!

Усмехаюсь сам над собой. Трус... Но и трус может за любимых драться, за землю родную. И чем он тогда отличается от смелого? Впрочем, тот свой страх не побеждал, он же смелый. Мне пришлось сложнее...

Наконец-то поднимаю винтовку, родную трёхлинейку. Неспешно укладываю на бруствере, крепко упираю приклад в плечо. Судорога внутри будто бы отпускает... Ловлю в прицельную планку вскочившую фигуру.

А не такие вы и страшные, когда на вас через прицел смотришь.

Тяну за спуск.

Выстрел!

Немец падает, но не от пули: фриц как раз закончил короткую перебежку. Вроде и не велико расстояние, всего-то метров 400, но попробуй попади: враг вскочит, пробежит метров 15–20 под прикрытием пулемёта и товарищей и снова залегает. А пулемёты, ух! Метко содят, плотно!

Я вдруг начинаю смеяться. Да даже хохотать – так легко вдруг стало, когда страх отпустил. Нет, правда отпустил! И очереди вражеские в мою сторону летят, и мины рядом падают – а мне вдруг не страшно. Наверное, понял, что умереть – это не самое худшее в жизни. Гораздо хуже жить безвольным трусом.

По-прежнему хохоча, ловлю в прицел вспышки вражеского пулемёта. Ведь в мою сторону бьёт, гад! Очередь рядом с бруствером легла, снег перепахала! Ну, подожди, брат лихой, сейчас мой черёд стрелять будет!

Навожу прицельную планку ровно под срез бьющегося на раструбе пламя. Ровно как учили. Глубоко вдыхаю и медленно так выдыхаю, чуть задерживая воздух в конце. Тяну за спусковой крючок.

Выстрел!

Вражеская очередь обрывается.

Ха-ха-хах! Да я пулемётчика заткнул, ребята! Будет теперь что пацанам рассказать, будет! Есть чем гордиться, я теперь уж точно мужиком стал!

А попробует Витька ещё раз Аньку обидеть – ей-Богу, все зубы повыбиваю, не побоюсь трибунала!

Короткая вспышка острой боли в груди – а я всё ещё смеюсь. Ну, или хотя бы улыбаюсь. Ведь хорошо же, хорошо же как – когда страх свой побеждаешь, когда правильный выбор делаешь, несмотря ни на что! Это, наверное, и есть самое главное в жизни!

Хорошо. И небо над головой такое синее-синее... Только почему-то я смотрю на него из ямы. Как я сюда попал? А впрочем, какая разница?! Главное, что спокойно так, уютно. И не больно совсем, нет. Только холодно очень...

Ефрейтор 386 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Владимир Афанасьев.

...400 метров. Сердце невольно пускается вскачь – сейчас немецкие наводчики нас разглядят, и всё, пиши пропало: капониры укрывают только низ орудия. Ну же, сержант, когда дашь отмашку?!

Впрочем, он сам нервно ждёт сигнала комбатра: батарея должна открыть огонь одновременно.

Угловатые коробочки фрицевских танков уже находятся в зоне эффективной стрельбы. Если я правильно их опознал (мы изучали силуэты и ТТХ вражеских машин весь последний месяц), это «тройки», средние танки с не очень мощной пушкой калибра 50-мм. Зато броня у них неплохая, 30-мм лоб башни и аж 50 – лоб корпуса. Поэтому и приходится подпускать их так близко.

Вообще-то зенитный артдивизион – это сила, способная остановить и более внушительную вражескую атаку. Пусть даже неполный – орудия и расчёты повыбило во время воздушных налётов, кого-то перевели вместе с мат. частью.

Но дело-то в том, что мы не готовились отражать танковую атаку, а потому до последнего держались на позициях, с которых перекрывали небо над станцией. Три батареи по штату, 4 трёхдюймовки 3-К и 8 37-мм зенитных автоматов К-61 (на котором я служу первым номером, наводчиком по азимуту), смогут обеспечить надёжную защиту крупного объекта, лишь разделив небо на сектора (с выбором высоты под возможности конкретного орудия). Для этого батареи располагаются на значительном удалении друг от друга, выстраивая «треугольник». Вот только сейчас самые мощные орудия-трёхдюймовки (они бы за километр достали «тройки»)

находятся вообще по ту сторону многочисленных путей. Да и вторая, более многочисленная батарея (3 орудия), расположена слишком далеко от места схватки – она прикрывает «север» вытянутой станции и железнодорожный мост.

Можно было бы подтянуть обе батареи к началу немецкой атаки, можно. Только слишком стремительно развивались события с самого утра. Ещё пару часов назад в Казинке стояли наши, держались на подготовленных позициях, контратаковали... а уже сейчас немцы прут прямо на нас. Хоть не одни дерёмся, стрелковый батальон вон уже минут 20 воюет!

Два орудия на два танка, расклад равный. У немцев, правда, ещё расчёты противотанковых пушек показались, зато на станции притаился цельный бронепоезд. Да. Только вот вооружён он всё теми же трёхдюймовками (не зенитными, гораздо менее мощными), а фрицы за Казинкой уже развернули батарею полковых гаубиц (бляха муха, у них даже полковая артиллерия представлена гаубицами, не говоря уже о дивизионной; как с ними воевать-то?!). Перед атакой гитлеровцы неплохо так прошлись по позициям батальона, и рискни экипаж бронепоезда высунуться сейчас, он лишь обречёт себя на бессмысленную гибель. Нет, команда бронепоезда вступит в бой, если фрицы прорвутся на станцию: гаубицы не смогут вести огонь, не накрыв собственной пехоты.

...Руки судорожно сжимают маховик поворотного механизма. Повинуясь тихим командам сержанта, я медленно поворачиваю орудие, ведя «свой» танк. Ну, когда же... Не в силах сдерживать волнение, я на секунду оглядываюсь на других членов расчёта, своих боевых товарищей. Все они волнуются, крайняя степень напряжения и ожидания написана на их лицах, но не трусит никто. Ещё бы, уже сколько раз под бомбёжками были! А сейчас нам противостоят не скоростные самолёты, а «всего лишь» тихоходные танки. Пускай и смертоносные...

Расчёт зенитного орудия – это элита среди артиллеристов. Нельзя сравнивать нас с обслугой противотанковых пушек, что несут самые большие потери, но воюют на мелких, легкоуправляемых сорокапятках (там только один наводчик, от которого в основном и зависит исход боя). И уж тем более с расчётами полковых пушек и гаубиц, зачастую ведущих огонь по секторам, да с закрытых позиций. Нет, у нас каждый член расчёта – это важнейшая единица, без которой боя не проведёшь. Два наводчика (по вертикали и горизонтали), два прицельных (по дальности и по скорости, углу пикирования) и заряжающий, что должен успевать вставлять в пазы 5-патронные обоймы, пока зенитка бешено вращается. Без подачи же боепитания перестанет работать автоматика, и орудие замолчит.

Наши действия должны быть предельно слаженными и чёткими, мы представляем собой сложный боевой организм. А потому не по службе отношения внутри расчёта очень тёплые, практически семейные. И я рад, что каждый член моей семьи готов к бою. Так что посмотрим, кто сильнее: боевое братство советской артиллерии или автоматизм немецких танкистов.

Сержант, ну когда же ты уже скомандуешь...

Вся эта бравада, все посторонние мысли – это лишь попытка отвлечься от липкого, разъедающего душу страха. У зенитчиков обычно нет передовой в привычном понимании этого слова, наш фронт – это небо, и мой экипаж, на счету которого уже два немецких пикировщика, достойно себя проявил.

Вот только сегодня мы оказались именно что на передовой...

Метров 380... ну же, когда начнём!

Один из танков в очередной раз делает «короткую» (двух-, трёхсекундную остановку, чтобы довести орудие и выстрелить), и я в одно мгновение понимаю, что это будет «наш» выстрел. В груди вдруг образуется пустота; одновременно я начинаю видеть так, как никогда раньше в жизни не видел. Или мне только кажется? Но как же ещё можно объяснить, что я разбираю номера на борту немецкой машины, что явственно вижу жерло орудия, нацеленного словно на меня одного!

– Огонь!!!

Яростная команда сержанта перекликается с грохотом зенитного автомата, отправившего в цель первую пятёрку бронейно-трассирующих снарядов. Немец выстрелил чуть раньше, но выпущенный им осколочный с диким воем рассёк воздух метрах в десяти слева и взорвался уже за спиной.

– Быстрее снаряды!

Наша первая очередь также не слишком точна, болванки лишь пропахали борт башни, оставив на броне светящиеся от жара малиновые полосы. Но преимущество автомата в гораздо большей скорострельности; «тройка» лишь успела тронуться, прежде чем поймала ещё пяток снарядов в лоб корпуса. Танк сильно дёрнулся, словно налетел на гигантскую стену; секунду спустя открылся единственный люк, из которого тут же густо пошёл дым. Следом показался будто бы пьяный человек – до того неточны его движения. Он сумел перебросить своё тело через борт машины, но через мгновение из люка ударила тугая струя пламени. Дикий, нечеловеческий крик, наполненный болью, резко ударил по ушам...

Сильный взрыв отвлек моё внимание от погибающего в огне экипажа (хоть и враги, но смерть жуткая) и заставил обратить внимание на второй танк. Но, видимо, «соседям» повезло больше: вражескую машину словно разорвало изнутри, а башню так вообще отбросило взрывом. Очевидно, очередь бронейных снарядов прошла её более тонкую броню и попала в боеукладку, вызвав детонацию снарядов.

Как там говорил Александр Невский? «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет!» Учите историю, псы немецкие!

Рядовой 507-го полка 148 стрелковой дивизии Виктор Андреев.

Оба фашистских танка горят яркими, чадными факелами. Жар огня, поглощающий остовы боевых машин, столь страшен, что достаёт до наших позиций; я ощущаю его кожей лица.

Зенитчики без промедления перенесли огонь на поле, ударив по пулемётным расчётам. Немецкое наступление, лишившееся главной ударной силы и огневого прикрытия, в одночасье захлебнулось.

Удобный момент. Я уже предчувствую нашу контратаку; руки до боли стискивают цевья винтовки и ложе приклада. Кровь бьётся в висках так, что я буквально слышу удары своего сердца.

– РРРО-О-ТА-А! ЗА РРРОДИНУ!! ЗА СТАЛИНА!!! УРРА-А-А-А!!!

Старлей бросается вперёд. За ним, бешено крича и матерясь, поднимаются красноармейцы. Всеобщий порыв столь заразителен, что я даже не заметил, как покинул свою ячейку. Лечу вперёд, раззявив рот в диком, беззвучном крике.

Ярость, охватившая бойцов, объяснима: сколько мы ждали немцев, сколько готовились – и всё равно они ударили неожиданно, всё равно прорвались. И если бы не зенитчики, как пить дать, враг выбил бы нас со станции. Кто-то из моих сослуживцев уже погиб, многие вскоре погибли бы – слишком грамотно и умело воюют немцы, словно бесстрашный и бездушный механизм.

Но стоило им лишь на мгновение сбавить натиск, дрогнуть – и давящее, безусловное превосходство врага куда-то исчезло. Страх, который я гнал от себя бешеной (и наверняка неточной) стрельбой, страх, который мешал целиться и заставлял быть по-звериному, от ужаса, – он переродился в дикую, всепоглощающую ярость. И сейчас, пробиваясь к врагу по снегу, каждый из нас одержим лишь одним желанием – дотянуться до немца, насадить на штык, дотянуться до следующего немца...

Мы бежим не пригибаясь, в рост. Мы видим лица своих врагов – и теперь уже на них написан страх смерти. Где-то в груди рождается звериный рык, рвущийся наружу. Сейчас, твари, сейчас...

Немцы встречают нас плотным пулемётным огнём, меткими винтовочными выстрелами. Вокруг меня, словно натолкнувшись на невидимую преграду, падают товарищи – ещё с детства знакомые ребята. В сердце вновь забирается ужас – дикий, первобытный ужас скорого конца.

Но он не бросает меня назад, нет. Он даёт силы пролететь последние несколько метров, разделяющих нас с врагом.

– А-а-а-а!!!

Зло оскалившись, дюжий, крепкий немец (голова на полторы выше) вскидывает карабин. Дуло винтовки смотрит прямо на меня – а я бегу на врага, словно замороженный, не в силах свернуть в сторону, отскочить, нырнуть вниз.

Крохотная вспышка пламени заставляет на секунду зажмурить глаза.

Всё?!

Кожу на шее крепко так обжигает. Но я не сворачиваю и не замедляю бега.

– Ннна-а-а!!!

Игольчатый штык вонзается в живот фрица. Человеческая плоть сопротивляется металлу, винтовку ощутимо дёрнуло, но я всё же сумел удержать её в руках. Трёхлинейка погрузилась в тело врага по самую мушку.

Невольно поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с противником. Какая же мука написана на его лице, какую же боль оно отражает! Из рта обильным ручьём течёт кровь, а василькового цвета глаза будто тухнут – жизнь стремительно покидает врага. На мгновение меня словно парализует.

Ударившая слева автоматная очередь приводит в чувство. Бой не окончен, нечего раскисать!

...Наши не добежали до противника какой-то десятков метров. Но немецкие пулемётчики в буквальном смысле ставят перед собой стену свинца; унтеры, поддерживающие своих автоматным огнём, чётко организуют подчинённых.

Стоящий в десяти метрах фриц разворачивается в мою сторону. Какой-нибудь фельдфебель – именно командиры немецких отделений вооружены пистолетами-пулемётами МП-38/40. Да, я могу это определить – нас хорошо учили командиры, хлебнувшие лиха под Смоленском. Они-то и рассказывали о достоинствах и недостатках трофейного оружия, советовали использовать фрицевские автоматы только в ближнем бою – свыше 100 метров они никакой точности не имеют. Убеждали получше освоить родную трёхлинейку – оружие надёжное и точное.

Только вот незадача: моя сейчас застряла в теле убитого врага. Пытаюсь выдернуть, не идёт – а фриц всё разворачивается в мою сторону, медленно так, словно в воде. Руки немеют, по спине бежит смертный холодок...

В какофонии звуков боя я не слышу выстрела, но явственно вижу, как дёрнулась от удара голова врага. Тяжёлым кулем он валится на бок.

Время вновь ускоряется. Поднимаю выпавший из рук убитого немца (*и что раньше не догадался?*) карабин с примкнутым ножевым штыком и вновь бросаюсь вперёд, слыша за спиной раскатистое, яростное:

– УРРРА-А-А-А!!!

Командиры вновь подняли бойцов.

На этот раз добегают все; вокруг стремительно завертелась кровавая круговерть рукопашной схватки. В ход идут штыки, сапёрные лопатки, зубы, кулаки... Люди словно переродились в зверей – над полем повис жуткий, многоголосый вой.

Большинство немцев крупнее нас; хорошо откормленные, увитые крепкими мышцами, они не хуже красноармейцев владеют штыковым боем (а то и лучше). Щуплые, маленькие крестьянские парни из пополнения (кое-кто мясо попробовал впервые в армии) кажутся по сравнению с фрицами коротышками.

Но всё это с лихвой компенсируется мощным зарядом ненависти к врагу. И если до того немцы уверенно давили нас пушками, миномётами, пулемётами, то сейчас мы, по сути, равны; сейчас у нас есть шанс одолеть врага – и мы его используем.

Я успеваю добежать до очередного противника прежде, чем он успел перезарядить свой карабин. Колю длинным выпадом – но немец заученно сбивает мою винтовку ударом ствола и с силой бьёт в ответ.

В последний момент парирую укол ложем карабина – ножевой штык лишь скользит по телу прорезав шинель и кожу. Обратным движением бью навстречу упором приклада. Удар в голову получается не очень сильным, но немец отпрянул. Ещё одна выигранная секунда – и я заученно достаю челюсть врага прикладом с разворота. Фрица пошатнуло, но он остаётся стоять на ногах – мне не хватило замаха.

Враг отпрянул, колет в ответ. Но теперь уже я отбиваю укол стволом карабина. Дёргаю его на себя – и штык-нож в коротком выпаде вонзается в живот фрица...

Сержант Фёдор Аникеев, командир пулемётного расчёта 496-го стрелкового полка.

Контратаку 507-го (один неполный батальон) и батальона пополнения, который привёл какой-то важный командир из штаба фронта, немцы отбили. Да и то сказать, у фрицев пулемёты и сейчас имеются в каждом отделении, ровно по штату; они основа огневой мощи врага. А наши бежали в рост, на «ура» взять пытались... Нет, до кого добежали, ударили крепко, смяли, перебили в яростной рукопашной.

Но основная масса фрицев откатилась, залегла и открыла такой плотный огонь, что подобраться к ним стало просто невозможно. Потрёпанные батальоны отвели на станцию, зато наш 496-й полк практически в полном составе развернули для атаки.

Немцы ведь тоже откатились к Казинке. Но у них такая тактика: крепко ударить и, если противник слабый, додавить его с ходу. Если же сильно огрызается, фрицы отступят, людей поберегут. Подтянут артиллерию, миномёты, когда имеется – бронетехнику. Концентрируют силы. Ещё раз крепко обрабатывают оборону врага артогнём. И снова удар. Не получилось, опять большие потери – отступят. Ещё раз артподготовка. Ещё раз концентрация сил, подтягивание резервов. Ещё один удар... А населённые пункты за спиной обязательно укрепляют, причём быстро. Пара-тройка часов – и потеснить фрица из уже готового узла обороны не так-то просто.

Вот наши командиры и порешили, что атаку противника надо предупредить и выбить его из села раньше, чем он основательно в нём закрепится. Идея-то неплохая, но мне ли, ветерану боёв под Смоленском, не знать, как дорого нам обходятся такие атаки, как невелик шанс успеха...

Ещё раз внимательно осматриваю свой пулемёт. Мой ДП-27, «Дегтярев пехотный» образца 1927 года, уже, наверное, тысячу раз почищен, смазан, обтёрт – но подготовка оружия перед боем лишней не бывает. Да и успокаивает меня сей процесс. Ведь вроде не в первый раз в схватку, но пока стояли на переформировке в Ельце, уже успел отвык от... Как правильно сказать-то? От близкой смерти? От напряжения боя? От того, что надо идти кого-то убивать и сделать так, чтобы не убили тебя? Да, наверное, от всего.

– Вася, ты диски набил?

– Так точно, товарищ сержант!

Василий Орехов, мой второй номер, ещё не бывал в боях. Но парень вроде не трус, да к тому же грамотный, городской. Для него этот бой – не просто схватка с фрицами. Сегодня Вася будет защищать свой родной город, свой дом. И хотя парень отчаянно волнуется, я верю, что в бою он не подведёт.

Эх, только выживем ли?! Знаю, перед дракой такие мысли гнать надо. А с другой стороны – куда от них деться-то, от мыслей? Пулемётных расчётов в полку кот наплакал, причём атаку

поддерживаем в первую очередь мы, «ручники». Станковые «максимы» просто так с собой не утащишь, в них живого веса больше 60 килограммов. А на поле, атакуя вместе с пехотой, расчёты ручных ДП становятся лакомой целью для вражеских пулемётчиков.

Принятый на вооружение фрицев «единый» пулемёт – штука сильная, особенно в обороне. Скорострельность огромная, раза в полтора больше, чем у ДП, ствол меняется в считанные секунды. Металлическая лента не мнётся и не обрывается, заряжать её можно с обеих сторон. А если установить пулемёт на станок – так вообще труба: с него и точность, и кучность, и дальность стрельбы возрастает. К тому же станок оснащён оптическим прицелом.

Я один день воевал с трофейным МГ-34, знаю, о чём говорю. Название прочитал на пулемёте. И дальше бы с ним дрался, только вот патроны кончились, да и отступить пришлось – а с пулемётом много не набегашь.

Ещё раз трепетно провожу ветошью по стволу «Дегтярева». Нет, у нас оружие тоже хорошее. Он чуть легче «немца», мобильнее, вполне обслуживается одним членом расчёта. Второй нужен только диски вовремя набивать. У фрицев же обязательно ленту нужно придерживать, огонь ведут двое. Да и не набегашься много с висящей лентой! Слышал, что у германцев есть отъёмные барабанчатые магазины, но ни разу не видел.

Кроме того, ДП надёжнее, если грамотно за ним ухаживать, в бою не подведёт. А МГ-34 состоит из хрен поймёшь скольких деталей, пробовал разобрать – куда там! Еле собрал обратно, и то с найденным руководством по эксплуатации (там картинки есть). Так что пускай немецкий МГ и более скорострелен, и вообще – оружие сильное, но капризен, зараза. Ну и нехай, пусть сами с ним возьмётся!

Кстати, принят у фрицев на вооружение МГ-34, а только воюют они со всем, что есть под рукой: трофейными чешскими, французскими и английскими пулемётами, даже с нашими ДП. Используют и то оружие, с чем их отцы дрались ещё в империалистическую. Ну а с другой стороны, пулемёт – он и в Африке пулемёт. И немцы правильно делают, что трофеи в бою используют, зато они оружием оснащены по штату. Правда, как быть с патронами...

Мои размышления прервал донёсшийся с тыла глухой гул моторов. Далеко. Вроде бы и наши грузовики, а там кто знает. Но цепочки красноармейцев встrepенулись, лишние движения прекратились, бойцы замерли. Подобрались и мы с Василием. Сейчас что-то начнётся...

Сзади вдруг гулко так громыхнуло, а несколько мгновений спустя сверху послышался... да даже не свист (как у летящих снарядов), а рассерженный вой, который с каждой секундой становится всё громче. Ещё мгновение спустя небо перечеркнули пламенные росчерки летящих в сторону врага снарядов. Только я таких раньше не видел – словно ожил Змей Горыныч из детских сказок и пошёл немцев воевать, поливая их струями огня...

Удар! Чудовищный грохот с вражеской стороны – и тут же такой мощный толчок земли, что меня аж подбросило! Это ж чем же таким наши содят, что за километр от места взрыва всё ходуном?!

И снова залп, и снова леденящий душу вой жутких снарядов, оставляющих за собой пламенные шлейфы, и снова чудовищный удар! Сразу за ним в немецком тылу послышались мощные взрывы. Ого! Да там, кажется, батарею накрыло!

– За Родину, за Сталина, в атаку!

...В месте попаданий новых снарядов остались глубокие воронки, быстро наполняющиеся талой водой и кровью. На дне некоторых из них можно разглядеть человеческие останки.

На поле стоят три покорёженных, разбитых остова противотанковых пушек. Диковинные снаряды накрыли батарею, хотя более мощные взрывы прозвучали дальше, за селом.

Я отмечаю всё это на бегу. Первые полкилометра мы протрусили довольно бодро, немцы огрызаются лишь редкими винтовочными выстрелами да короткими пулемётными очередями. Но 500 метров – это уже рабочая дистанция для всех фрицевских МГ, и, похоже, нас просто подпускают, чтобы разом ударить из всех стволов.

– Василий, ложись!

Второй номер падает в снег рядом со мной. Поглубже вбиваю сошки ДП, крепче упираю приклад в плечо. Сейчас начнётся...

Предчувствие (да и опыт) меня не обманули. Околица села оживает характерным рёвом 10 вражеских пулемётов. Атакующая цепь мгновенно валится в снег, часть бойцов – навсегда.

Пока красноармейцы бежали, они мешали мне стрелять, но зато я успел засечь ближний ко мне расчёт. Теперь же фрицы бьют короткими по залёгшим врагам, а я навожу срез планки прицела под язычок огня, пляшущий на раструбе пулемёта...

– Товарищ сержант, ну же!

Василий в нетерпении приподнимается. Эх, он хоть что-нибудь запомнил, чему я учил?!

– Не высовывайся!!!

Немцы обычно дают 7–8 очередей, после чего меняют ствол. Вот в этот момент хорошо бы и подловить расчёт. Пусть пулемётов у врага оказалось меньше, чем я ожидал, но всё равно больше, чем в нашей атакующей цепи. И в «дуэли» с несколькими более скорострельными МГ было бы неплохо сразу заткнуть хотя бы один.

Вражеский пулемёт замолкает. Опытному расчёту требуется около 10 секунд, чтобы поменять ствол. Но у немцев их нет.

Плавно тяну за спуск...

Первая очередь с силой отдаёт в плечо и даже чуть оглушает, несмотря на какофонию боя. Но чувства эти знакомые, даже родные. И следующие три, примерно по 5–7 патронов, летят точно в цель.

– Бегом, меняем позицию!

Короткая перебежка: смещаемся чуть вправо и вперёд метров на десять. Плюхаемся в снег рядом с телом убитого красноармейца. Вася невольно бледнеет, но тело павшего товарища сейчас служит нам единственной защитой.

Впрочем, фрицы всё равно нас засекли. И хотя обстрелянный мною расчёт пока замолчал (надеюсь, что навсегда), на нашей позиции скрещиваются трассы сразу двух пулемётов. Ошмётки чужой плоти накрывают нас с ног до головы, а высунуться и ответить нет никакой возможности. Слишком плотно молотят фрицы...

Неожиданно сзади ударила мощная автоматическая очередь, не иначе как орудийная. Вражеский расчёт буквально смело вместе с наспех насыпанным бруствером.

Второй попытался сменить позицию. Но на этот раз уже не сплеховал я: очередь ДП уверенно уткнулась в спину немецкого пулемётчика. Справа, одновременно со мной, грохнул винтовочный выстрел, и второй номер упал, зажав прострелянное бедро. Только третий сумел уйти, вовремя откатившись в сторону, за укрытие из деревянных плах.

С почином, Вася!

Оглядываюсь назад. Всегда бы так! На наших исходных позициях показались тонкоствольные зенитки, расчёты тянут их вперёд на руках. Артиллеристы с ходу вступили в бой, даже не переведя орудия из походного положения. Вот это вы вовремя, ребята!

Глава 2

Ночь с 3-го на 4-е декабря 1941 г.

Район железнодорожной станции.

Рядовой 507-го полка 148 стрелковой дивизии Виктор Андреев.

...Когда-то я прочитал, что в жизни бывают дни, что делят её на до и после. Тогда я не понял, только смутно себе представил, какими они могут быть: день свадьбы, рождение ребёнка... Мою жизнь на до и после разделил сегодняшний день.

Наверное, я никогда не забуду того ужаса, с каким бежал в атаку, не забуду лица первого убитого мною немца. Глаза закрою – и вот оно, передо мной, будто только что штык прошил его живот. Не забуду, как горели танки и как бежал живой факел – немецкий танкист. Он даже не кричал – бывалые бойцы после сказали, что у него сгорела гортань, он уже и звука не издал бы...

Хотя сейчас пламя небольшого костерка, обложенного выломанными кирпичами, не напоминает мне о сожжённой бронетехнике, о погибших людях; оно лишь приятно согревает кожу лица и руки, пробуждая в душе совсем иные воспоминания.

...В детстве я очень любил развести костёр с отцом, потом с друзьями, любил смотреть на него и вести неспешные, а когда весёлые или чуть грустные разговоры. На секунду я словно перенёсся туда – в беззаботное, счастливое время, когда были живы все родственники, друзья и родные...

Сам я родом из-под Тербунов, совсем недалеко от Ельца. Село немалое, можно сказать – богатое. Было.

Не хочется вспоминать о плохом: как умирали люди в деревне во время голода, как раскулачивали крепких хозяев. Как, считай, ни за что посадили нескольких сельчан – вроде как «своровали».

Я и сам себе не могу сказать, справедливы ли были эти аресты. *Боюсь?* А чего бояться быть честным хотя бы с самим собой?

Может, того, что, признав неправду душой, мне дальше придётся с ней жить? Или захочется попробовать что-то с ней сделать, что-то изменить? Да кто знает... С одной стороны, люди воровали государственную собственность, что требует наказания само по себе. С другой – да сколько они там своровали? И что?! И ради чего ведь брали или утаивали – семью прокормить, близких сберечь! Разве это плохо? И кто бы позаботился об их родных – колхозное начальство?! Что-то не верится, им бы лишь план выполнить.

Ох, не нужны сейчас мне эти мысли... Но отчего-то я снова и снова к ним возвращаюсь. Может быть, потому, что костёр, так долго и приятно горящий, пожирает выломанные после артобстрела доски и куски шпал, в то время как мы топили печи соломой? Так ведь и ту брать запрещали! Или, быть может, потому, что я сегодня на ужин съел две порции перловки с тушёнкой, а в деревне мясо видел только на Пасху да на осенний забой скота?

Тяжело всё понять. Умные люди говорят (а партийные работники, что на деревне, что в армии, учат), что коллективизация была вынужденным шагом, необходимым для строительства новых заводов, производства танков, самолётов, станков. Наверное, они правы. Но только все эти умные люди из города, а из деревенских никто за колхозы спасибо не скажет. Да и что говорить, если в первый год, выполняя и перевыполняя план, забили столько скота и столько хлеба изъяли, что смогли лишь отчитаться о перевыполнении плана. Вывезти, укрыть – никто этим не озаботился. Всё погнило...

А потом голод.

Я ребёнком тогда был, не совсем понимал, что происходит. Почему вдруг всё меньше и меньше даёт каши мне мама. Почему ароматный ржаной хлеб больше не печётся – в него теперь тёрли картоху, чтобы хоть что-то приготовить. Только темнел он на следующий же день – а ведь стал редким лакомством!

Но и то было только начало: еды становилось всё меньше, каша всё жиже, у некоторых соседей уже умирали младенцы – от недоедания у матерей пропадало молоко. Тогда-то люди и начали воровать, хотя фактически они брали самое необходимое, чтобы выжить, брали то, что раньше им и принадлежало! Да уж, тяжело было... А потом и ещё хуже – люди начали пухнуть с голода.

Мою семью спасло только то, что я с младшими всё лето провёл в лесу, собирая ягоды-грибы-орехи, да чуть ли не каждый день ловил с дедом рыбу. Родители, предчувствуя беду, постарались навялить как можно больше карасей, плотвы и окуней, что приносили мы со стариком; эти запасы в будущем нас очень выручили.

...Эх, рыбалочка! Выйдешь до зорьки на пруд аль на речку, только снасть разложишь, сеть или удочки забросишь, вот оно уж и солнышко показалось. Небесное светило одевает в багрянец деревья, луговые цветы, отражается от глади воды. А чуть припечёт – и над рекой аль над прудом поднимается туман. И как-то сразу вспоминаются детские сказки о русалках и водяных, леших и кикиморах... Красота! Птицы в дальнем лесу зачинают переливающуюся разноголосыми трелями песнь, петухи в деревне приветствуют друг друга бодрыми кукареканьями, кто громче. На воду спускаются утки с выводком, а рядом с ними плывёт ондатра...

Кстати, если удаётся её палкой оглушить да тушку подхватить, сразу съедаем! Мясо у ондатры вкусное, нежное – даром что крыса. Тут же малый костерок разведём, тушку освежаем да на углях мясо и запечём, сдобрив солью (всегда брали с собой хоть чуть-чуть). Вкуснятина! А за ней уже и первые карасики поспевают – туда же их, на угли. Вот и завтрак.

Ловишь до обеда, а бывает – и до вечера. Солнце припечёт, землю разогреет, а на зорьке какой аромат поднимается от луговых трав и цветов! Хоть воздух нарежь да в котелок с булькающей водой бросай для вкуса...

Но главное на рыбалке – это, конечно, рыба. Место своё надо прикормить заранее, да пораньше встать – иначе займут. Бывали у нас с деревенскими мальчишками лютые сечи за прикормленное место, бывали... Так вот, я больше всего любил удить с удочкой. Забросишь удило и смотри на поплавок (самодельный, из пробки). Коли дёргать начинает, то мелочь подошла. Её бы желательно отогнать. А как? Известно всем рыбакам, что если мелочь пришла, большая рыба клевать не будет. Не хочет она кушать твою наживку: мотыля ли, червяка или опарыша, варёную кукурузу, кашу, хлеб. Надо её менять.

Только не всегда это получается. Червяка накопать ещё можно, опарышей приходится добывать. Можно специально дать загнить каше (если есть лишки, что редкость), выставив её на улице, можно сходить на скотобойню – только туда ведь не пускают. Каша или хлеб в крестьянской семье – это основной рацион, ими особо не разживёшься.

И всё-таки ведь находили, добывали наживку! И раз за разом забрасывали самодельную снасть в воду. А там как пойдёт.

Начинает дёргать, раз за разом быстро поплавок вниз ныряет, подсечёшь – а нет ничего! Это маленькая рыба пришла. Тут нужно выждать момент, пока поплавок хорошо так не потянет в сторону. Вот тогда уж ворон не считай, подсекай!

Ну а большая ведёт себя иначе: был поплавок – и нет его, скрылся под водой. Дёрнул – чувствуешь, тяжесть – есть! Только вот вывести большую рыбу – это ещё уметь надо. Аккуратно подтягивать за леску к себе, саму удочку не сгибая, – иначе сломаешь. И только у берега рыбу в подсад ловить.

Ну, на удочки мы в основном на пруду ловили. Сеть на реке обычно ставят, против течения, и тут одному не управиться. Вот, бывало...

– Ну что, мужики, вода вскипела. Давай трофеи делить.

Давно пора! Слюна от воспоминаний во рту такая стоит, что захлебнуться можно! Ужин, конечно, был плотным – готовили на весь личный состав, а четверть бойцов выбыло, как пить дать. Ну, может, чуть меньше. Так что добавку предлагали всем, хотя многие поначалу отказались. Я и на свою-то порцию смотреть не желал, кусок горло не лез. Спасибо командиру, наорал, заставил жрать, чтобы силы были. А после первой ложки такой жор пошёл, что, и две порции съев, ещё есть хочу.

Да и интересно, чем там фрицы питаются. Правда, трофеев нам досталось немного: несколько пачек галет, десятков банок тушёнки на роту (оставшуюся), немного сигарет – ну это курякам. Я как-то не приучился. Вот и весь навар.

Мне достаются всего две хрупкие галеты с тонким слоем тушёнки, намазанной сверху. Да примерно полкружки чая – кипятка, чуть сдобренного сахаром. Ммм... Вкусно немцы (чтобы вы, твари, выродились!) питаются.

...Нападение гитлеровцев в июне многие восприняли несерьёзно. Бабы, конечно, завывали – но ведь такова их бабская сущность, по поводу рыдать и без повода. Правда, взрослые мужики, побывавшие на германской, тоже помрачнели. Но мы, молодёжь, радовались: война пришла, сейчас врага побьём, домой вернёмся с медалями и орденами! Толпой прорывались в районный военкомат. Только там нас никто особо-то летом и не ждал; в первую очередь призывали мужчин, имеющих воинские специальности, запасников.

А уж после желающих попасть на фронт стало гораздо меньше. Наша армия, самая могучая в мире, пятилась под ударами на собственной земле – вместо того, чтобы разгромить врага «малой кровью, могучим ударом». Газетные сообщения и информационные сводки ясности не вносили; рассказы о чудесах мужества и воинского мастерства бойцов и командиров РККА сменялись названиями населённых пунктов, за которые шли бои.

Что оставляем свою землю, в голос не говорилось. Но и так было ясно, что к осени противник докатился до Смоленска, идут бои на подступах к Киеву... И дальше только хуже. А чуть позже в семьи, чьи мужики ушли на фронт, стали приходиться первые похоронки. И снова бабий вой, над которым уже никто не смел смеяться...

Чем ближе подходил противник, тем всё более страшными слухами наполнилась земля. Беженцы, бросившие родные края, рассказывали страшные вещи: о том, как фашистские лётчики расстреливают колонны мирных людей, как немцы давят детей и баб танками, оставляя за собой лишь густое, кровавое месиво... Как поголовно расстреливают комсомольцев и уничтожают семьи партийцев, как бросают в колодцы детей учителей. Как глумливо издеваются и поголовно насилуют всех девок и баб...

Я верил не всем слухам, хотя они регулярно дополнялись сообщениями информбюро. Но то, что немцы – лютей враг, которого нужно остановить, уничтожить, стало предельно ясно. Сколько раз от душащего гнева сжимались кулаки! Сколько раз я представлял себе, как окажусь там, где враг совершает свои гнусности, как сумею остановить их, истребить!

И тем горше вспоминать сегодняшний день: вражескую атаку, свой крик и мат, быструю стрельбу, после которой я с силой передёргивал затвор... В душе меня жёг стыд: ведь я боялся и не целился и, наверное, ни разу не попал.

Но всё равно я ставил себя выше Белова. Его стрелковая ячейка находилась рядом с моей. И я с гадливой радостью видел, как он и не стреляет вовсе, прячется, боится. Боялись все, но ведь многие вели пускай хоть сдерживающий, но огонь! А ненавистный мне Лёшка трусил, трусил...

Но я видел, как он погиб. Я вновь высунулся из окопа, чтобы сделать очередной выстрел (зарядив уже последние патроны). И вдруг Белов: встаёт, смеётся(!), спокойно так укладывает винтовку на бруствер. Целится. Стреляет.

Близко ударил пулемёт, я присел, а Белов нет. И я не удержался. Вновь привстал, чтобы краем глаза видеть его.

Лёшка снова выстрелил – и ведь пулемётная очередь оборвалась! А секунду спустя он упал на дно окопа; пуля прошила грудь.

Я нырнул в свою ячейку, не в силах поверить, что Белов оказался смелее меня, что он пересилил свой страх. Что он погиб, сумев всё же забрать кого-то из фашистов, а я нет. Я лишь палил по воробьям, радуясь, что оказался хоть чуть-чуть смелее соперника...

...Я не сразу влюбился в Аньку. Ведь все мы учились в одном классе, я, Лёшка, Аня... Только я еле дотянул до 6-го: семье были позарез нужны ещё одни рабочие руки. И мне приходилось уже не сколько помогать, сколько брать на себя хоть малую часть работы.

А они продолжили учёбу. Я внутренне посмеивался над школярами (хотя вчера сам был одним из них), гордился, что уже работаю в колхозе, что уже являюсь одним из кормильцев семьи.

...Прошло пару лет, я стал полноценным рабочим, с нетерпением ждал, как отправлюсь в армию. Уже строил планы, что покажу себя на службе с лучшей стороны и попробую поступить в военное училище. Форменная гимнастёрка, галифе, хромовые сапоги, щеголеватая португепя с наганом в кобуре – да все девки мои будут! Но знакомиться с девушками хотелось и до армии, до училища. Ходил на танцы и уже там снова встретил её...

Аня не красавица в полном понимании этого слова, но мужские взгляды она притягивает. Невысокая, чуть полноватая, что, впрочем, не особо её портит. Поскольку фигуристая, а лиф платья трещит под напором тяжёлой груди. Русая коса до пояса, а волосы волнистые, густые. Лицо хоть и наше, крестьянское (чуть кругловатое), однако же глаза большие, голубые, и губы красивые, полные – так и хочется в них впиться поцелуем!

Я как Аньку снова увидел, так аж загорелся, всё ходуном во мне заходило, во рту пересохло! И уж я к ней и так, и этак, а она ни в какую. Потанцевала со мной пару раз, да больше из вежливости, хотя в моих горящих глазах всё прочитала.

И этот отказ, это пренебрежение мною вначале просто задело, а уж потом и вовсе загло; отныне я мог думать только о ней. Пробовал ухаживать красиво: носил на подоконник большие букеты луговых цветов, за бешеные для себя деньги заказал шоколад из города, пробовал читать стихи. Да куда там! Цветам поначалу (я сестру посылал на догляд) обрадовалась – пока не узнала, от кого. Шоколад отвергла, хоть и видно было, что очень хочет попробовать. Пришлось маме с сёстрами отдать.

А на стихи мои честно ответила, что парень я хороший, да люб ей другой.

Вот уж тогда рассердился я крепко! Скоро узнал, что вздыхает моя желанная по Лёхе Белову. Он, конечно, не чета мне: все 10 классов закончил, собирался в город уезжать, поступать в училище или техникум железнодорожный. Да и на лицо смазливый, девки таких любят. Только ведь была у Лёшки другая зазноба, Ксюшка!

С Ксюхой история отдельная. Она вот уж действительно красавица, каких в деревнях и не сыщешь вовсе. Высокая, стройная, лицо у неё тонкое, черты правильные, словно из барьёв девка. Я, конечно, тоже на Ксюшку посматривал, но и только: было видно, что птица не моего полёта. Такой красе не грех инженера городского какого охмурить да на себе женить. Стал бы я военным, командиром – тогда, может быть, по-иному сложилось бы. Но мне и не больно надо, мне Анютка весь мир будто заслонила.

Вот только у Лёхи ничего с Ксюшкой не получилось (оно и понятно), он на Аню и переключился. Та словно солнышко засияла! Я как-то не стерпел, в драку бросился. Схватились мы с Беловым, я вроде покрепче; да закончить нам не дали. Растащили, а желанная моя ко мне подлетела да пощёчину как зарядит! И хоть девка, а рука-то тяжёлая.

Стыдно, обидно, тошно на душе. Но больше я к ним не лез: что поделаешь, если не мил?

Началась война, страсти вроде поутихли. Нас с Беловым призвали в одну роту с ещё несколькими земляками. Держались одной кучкой, старые обиды отошли на второй план.

Да только совсем недавно, когда немец уже к Ельцу подходил, когда стало ясно, что скоро в бой, Лёха-то и проговорился про Аньку. Оно понятно: все трусили, и хотелось хоть как-то заглушить страх. Разговаривали о доме, о любимых, о том, как в детстве за рыбные места дрались. Да всё со смехом, с шутками. Тут о бабах разговор зашёл, вот Белов и не удержался, похвалился: он уже мужиком стал!

А у меня в глазах всё от ненависти потемнело. Руки в кулаки сжались, чуть не кинулся. В последний миг остановился – у нас дисциплина строгая, кто его знает, как повернёт. Конфликты командирами и политруком пресекаются строго; вдруг решат случай драки не замять (всё ж таки бойцов и так не много), а, наоборот, показательно наказать, чтобы другим повадно не было! По крайней мере, зачинщика драки.

Ну и (нечистый попутал, самому сейчас стыдно вспоминать, что говорил) начал я над Анькой похабно измываться. Да так безобразно, что самого воротило от сказанных слов, – но лишь бы он первый с кулаками вперёд бросился! А Лёшка так ничего, как с гуся вода – гаденько улыбается, поддакивает. Только ещё хуже стало, что Аня такому трусу безвольному честь свою подарила, сопле бесхребетной!

...Но сегодня этот самый трус проявил больше мужества, чем я, сумел вовремя справиться со своим страхом. Он сражался до конца и умер как мужчина, забрав с собой опытного, опасного врага. Я позже прошёлся до места расположения вражеского расчёта – лежал там крепкий немец со знаками различия в петлицах, явно не рядовой. А ровненько так посередине лба аккуратная дырка, и раскрошенный затылок на месте выхода пули. Так-то.

А Лёшка покоился в ячейке. И глазами ясными, голубыми, в небо смотрел. И даже вроде как улыбался – спокойно так, умиротворённо.

И пропала разом вся обида за Аньку, всё пренебрежение, вся злость к нему. Покойся с миром, Лёха, и прости за всё, если сможешь...

Дожевав галету с тушёнкой и допив кипяток, я вдруг почувствовал, как сильно устал и хочу спать. Сегодня я не в наряде и не в карауле, так что можно идти отдыхать. Правда, холодно здесь, в просторном здании вагоноремонтного депо. Да мы кучкой лежать будем, согреемся.

Слышал, что здесь перед самыми боями железнодорожники паровоз с двумя вагонами бронёй обшили, только вот вооружения установить не смогли – неоткуда взять. Пришлось бронепоезд срочно из города отправлять: ведь если немцы мост через Дон перекроют – абзац безоружной машине.

Он и другой сегодня ничего сделать не смог, хотя и вооружённый. Правда, когда я его после боя увидел, понял, что вряд ли бронепоезд смог бы чем нам помочь – его крепко потрепали в предыдущих боях. Ближе к вечеру машину отправили со станции – мудрят что-то наши командиры, но на то они и командиры, верно?!

Прежде чем закрыть глаза, подумал об Ане. Не убереглась девка! Ну и что же, не посмотрю теперь в её сторону?

Сложный вопрос. Жениться-то всегда думал на честной девушке, так, с другой стороны, и Аня не шалава какая. Любимому себя подарила, а что неженатые – так война, кто его знает, как повернёт? Лёхи вон и нет больше.

А я? Я жив останусь? Перевязанные шея и грудак крепко болят при каждом движении, фашистская пуля и штык уже отметились на моём теле. Несказанно мне повезло, что вообще жив остался да что командир нас штыковому бою крепко учил.

А Аня? Она-то хоть выживет? Один шальной снаряд или налёт германских стервятников, небольшой осколок или пуля – и всё, нет больше моей зазнобушки. А если немцы в Тербуны войдут?

Аж в жар бросило при этих мыслях. Фрицы мимо красивых и сочных баб да девок не проходят. Снасильничают толпой, как пить дать, и хорошо если в живых оставят да ножами не изрежут!

И что тогда, не приму уже её, многих мужчин познавшую да силой взятую?! Брезговать буду?! Или она в мою сторону не посмотрит, потому что не защитил от врага, потому что дал германцу в родное село войти?

Стиснув зубы до боли, что есть силы врезал кулаком по полу Боль в осушенной руке хоть чуть-чуть мою ярость остудила.

Нет, германцы, балуете! Не освободителями вы пришли на нашу землю, не для того, чтобы власть советскую сбросить да чтоб деревня зажила – как в своих листовках распишываете! Вы пришли за землёй нашей, за бабами нашими, за жизнью нашей и свободой!

Так не ждите, что уйдёт Витька Андреев, что отступит. Насмерть стоять буду! Я сегодня уже двоих прихватил, завтра столько же ваших жизней драгоценных заберу! И целиться буду крепко, и стрелять метко, и укрываться вовремя. Я теперь битый, за которого двух небитых дают. И откуда жив – ни пяди по земле моей родной не пройдёте!

Район городской больницы.

Боец Елецкого партизанского отряда Григорий Фомин.

Холодно что-то, даже в сон не клонит. Впереди, на Орловском шоссе, идёт крепкая драка; до нас доносятся звуки многочисленных выстрелов и очередей, гулкое эхо бухающих снарядов. Но в тюрьме наши вроде бы неплохо закрепились, так просто их оттуда не выбить. А тыл мы прикроем.

Правда, прикрытие из нас (бывшего городского истребительного батальона, теперь же части Елецкого партизанского отряда) получилось хреновенькое: большая часть бойцов вооружена не поймёшь чем. К примеру, у моего молодого товарища по дозору, Митьки Хрипунова, в наличии переделанная из учебной винтовка, а у меня гладкоствольное охотничье ружьё. Плюс по гранате-самоделке на брата (их штампуют на табачной фабрике) – вот и всё вооружение. И хотя опыта-то у меня поболее будет, чем у многих, мою белогвардейскую службу комиссары помнят крепко.

...Я, Григорий Демьянович Фомин, 1898 года рождения, родился в мещанской семье, вырос и прожил большую часть жизни в Ельце. Я хорошо помню купеческое время, когда город весело переливался солнечными бликами, отражающимися от золота церковных куполов; помню торжественный приезд великого князя Михаила Александровича. Его приурочили к открытию красивейшей Великокняжеской церкви, крест которой был выполнен из горного хрусталя – не скупились купчины, вкладываясь в родной город!

Тогда в городском саду имелись специальные тепличные оранжереи с тропическими фруктовыми деревьями и бродящими между ними павлинами. А каким красивым был парк купца Петрова, представляющий собой сложную систему связанных водоёмов, в которых произрастали редчайшие цветы и деревья?! В обоих парках часто играл полковой оркестр Нежинского полка, устраивались танцы. Для молодых людей продавались газированные напитки и шампанское Заусайлова, произведённое по французской рецептуре.

Конечно, весь этот рай был доступен не многим. В том же городском саду было три дорожки, по которым гуляли люди разного состояния и сословий. Таким образом, простые работяги могли прийти полюбоваться парком, но никак не смогли бы встретиться с купчихами или дворянками. Да ну и шут бы с ними, с купчихами! Хотя, конечно, унижительно.

Зато работы в Ельце хватало. Большая железнодорожная станция, при ней первое в Российской империи техническое железнодорожное училище. Табачная фабрика и ликероводочный завод, выпускающий елецкие шампанское и вина. Елецкая мануфактура, на которой плелись известные во всей Европе кружева, кожевенная фабрика и другие. Было где учиться детям

всех возрастов и сословий: приходские, городские и железнодорожное училища, реальное училище (которое заканчивал я), женская и мужские гимназии.

Город был очень богат благодаря активным, предприимчивым купцам, что не жалели средств на украшение и развитие Ельца, а заводы и фабрики притягивали рабочие руки. Елец по праву мог претендовать на звание губернского города и должен был им стать. Ещё царь Александр III обещал изменить его статус с уездного на губернский, если в городе будет действовать 33 храма. И ведь заложили 33-й, да только во время войны...

На германский фронт я, 18-летний парень, попал в 16-м году. Год побед, год славы русского оружия!

Австро-венгров разбили в Галиции, турок громили уже в Малой Азии, Юденич взял Синоп. Колчак рассекал по Чёрному морю, загнав турецко-германский флот в Мраморное море, а на Балтике немцы никак не могли прорвать оборону, возведённую ещё гением Эссена. Россия готовилась к финальному рывку, к удару, что сокрушил бы кайзеровскую Германию...

Придя на Северный фронт вольноопределяющимся, я смог занять место в пулемётной роте. Пулемёт «максим» казался мне воистину сказочным, смертоносным оружием; один умелый расчёт вполне мог остановить атаку целой роты врага. Благодаря водяному охлаждению огонь из «максима» можно вести непрерывно, а большая масса и устойчивость дают отличную кучность и точность боя. В отличие от кайзеровских пулемётов, наш был оснащён щитком, закрывающим пулемётчика от пуль и осколков.

Воевал я честно; и хотя у нас не было таких лихих сражений, как у Брусилова, подраться мне пришлось крепко. И газами меня травили, и в атаку шёл вместе с пехотой, тянув за собой больше 60 килограммов пулемёта, и врага отражал. Георгиевский крест четвёртой степени заслужил по праву.

Перед госпиталем (крепко зацепило осколком) получил направление в школу прапорщиков. Но не успел я ещё выписаться, как грянула революция.

...Отречение царя, регулярные смены правительства, преступные приказы, разом развалившие армию, – страна стремительно скатывалась в пропасть. Такая грязь со дна поднялась да в князи полезла – страшно вспоминать. Грабежи, убийства, насилие стали порядком вещей. Полицию, транспорт, почту практически полностью парализовало; государство больше не выступало гарантом защиты жизни и прав человека.

Фронт трещал и прогибался под ударами немцев, держась лишь на силе духа истинных патриотов. Но с каждым днём их становилось всё меньше – «революционные массы» бунтовали, расправлялись с офицерами; дезертирство было массовым. В таких условиях оставаться в строю я не захотел, да и до фронта добраться не смог бы. Нет, я отправился в родной город, в надежде воссоединиться с семьёй и при необходимости защитить родителей.

Что же, путь домой был непростым, и я не раз пускал в ход трофейный парабеллум. Слава Богу, родители мои уцелели, хотя и пограбили их изрядно. Но радость воссоединения была недолгой: к власти пришли большевики, а вскоре началась гражданская война.

Надо понимать, что семья моя была искренне верующей, отец состоял в обществе трезвости, организованном отцом Николаем Брянцевым. Его убийство, как и начавшиеся гонения на православную церковь всколыхнули родных. Отец, крепкий ещё мужик, отслуживший ценз в драгунах, терпеть подобное беззаконие не стал.

Маму мы отправили в деревню к родным, а сами двинулись на Дон – там пытались подняться казаки, там же создавался добровольческий корпус. Вот только красные реагировали быстрее: они в кратчайшие сроки от мобилизовали боеспособную армию, расстрельными методами навели в ней жёсткий порядок. А колеблющееся рядовое казачество большевики разлагали всевозможными посулами, настраивали простых казаков против собственных офицеров, атамана. И выступление Каледина вскоре затихло, а добровольцы ушли на Кубань.

Мы с отцом оказались меж двух огней. На Дону теперь правили большевики, в тылу тоже остались большевики. Немногочисленные добровольцы безуспешно штурмовали Екатеринодар и так же безуспешно пытались поднять кубанцев, перед войной щедро разбавленных иногородними. В сущности, их дело было – труба, вопрос об окончательном разгроме контрреволюционных сил заключался лишь во времени.

Мы с отцом укрылись в небольшой станице, уже не зная, что делать дальше – прорываться на юг, следуя через местность, занятую красными и бандитами, или домой, на север – через те же препятствия. Решили немного переждать, последить за событиями.

Наше ожидание окупилось сторицей. Большевиков (а точнее, бандитов и мародёров, поступивших им на службу) подвели самоуверенность, жестокость и безнаказанность. Когда начались грабежи и изнасилования на Дону, казаки поднялись и обрушились на оккупантов. Возглавил их талантливый организатор и военачальник Краснов. Тут-то и мне нашлось место, и моему отцу.

Вот только развела нас тогда судьба. Я попал в пулемётную команду, а мой драгун-родитель – в кавалерийскую часть. Какое-то время воевали рядом, но единый фронт отсутствовал: что красные, что казаки действовали небольшими мобильными группами, много маневрировали. Части мотались из стороны в сторону, и вскоре всякая связь с отцом прервалась.

Что с ним случилось, сложил ли батюшка голову в схватках или сумел эмигрировать (если б в России остался, обязательно вернулся бы домой) – я не знаю. Молюсь за отца каждый день, а уж Господь ведает, где оказать помощь родителю.

...Гражданская война сильно отличалась от второй Отечественной. До того я дрался с германцем, защищал Родину, её интересы. Здесь я вроде бы так же сражался с врагом, да только не с иноземцем, а со своим же, русским братом. Быть может, среди тех, кто поднимался в атаку под пулемётным огнём моего «максима», были вчерашние друзья, знакомые, сослуживцы; я никогда не смотрел на тела павших, боясь кого-то узнать. Да, их направляла чужая, вражеская рука, вот только гибли на поле брани свои же, русские.

«В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата...» Эх, если бы на гражданской войне такое было возможно!

...За 4 года бесконечной войны казаки устали. Того стержня, что был у красных (расстрелы, комиссары, семьи в заложниках), воины Краснова не имели. И когда забрезжила возможность замирииться, большинство казаков сложило оружие – тем более что сил держаться против большевиков уже не хватало.

Многие обнадёжились тем, что красные учтут старые ошибки и не допустят вновь обид населению.

Вот только лидеры большевиков видели в казачестве сторонников царизма, а не друзей революции. Веками сформированное воинское сословие, чуть ли не отдельный народ со своими традициями и способностью самоорганизации, казаки были слишком опасны. Так что теперь уже не мародёры и грабители из красной гвардии стали мучить людей, а комиссары, используя все наличные ресурсы. Они грабили, убивали, насиловали; храмы осквернялись, духовенство уничтожалось. В станице Вёшенской устроили расстрел стариков, пытавшихся опротестовать решения пьяных от крови властителей.

Но это стало последней каплей. Веками сложившаяся на Дону воинская традиция делала из стариков самых уважаемых и авторитетных людей. Старики были вправе сорвать погоны с атамана! А тут их просто расстреляли.

И грянул гром! Вновь вспыхнуло войско Донское, вновь летели головы красных под казачьими шашками. Люди ожесточились до предела, смерть стала до того привычной, что уже никого не удивляла; с обеих сторон лилась кровь не только воинов, но и родных тех, чья сторона проигрывала. Война эта превратилась из борьбы с врагом в бесконечную кровную месть, где люди безмерно ожесточались с обеих сторон, не всегда понимая, за что сражаются.

Бывало, что выходили мы к местам, где зверствовали красные. Вскипали дикой, нечеловеческой ненавистью, без страха, с яростью шли в бой, чтобы убить. Пленных не брали, а кто попадался – участь этих людей была прискорбной!

Да только после наступали такие горечь и пустота внутри, что хоть на луну вой. У меня, к примеру, иногда возникали мысли о смерти в бою – я её начал жаждать! И всё труднее было обращаться к Господу в молитвах...

В эти дни я начал ломаться. Да и многие казаки тоже. Веками их моральным стержнем была Православная вера; вольные воины Христовы защищали Русь от татар, дрались с турками и горцами – все они были магометанами. Теперь же приходилось сражаться с единоверцами и братьями по крови.

Хотя с людьми (и не только с казаками) что-то случилось ещё до германской; вроде и ходили они в церкви, и посты держали, да только жили своими шкурными интересами, забыв о Боге. Для многих вера стала лишь торговой вывеской, скрывающей истинное нутро...

И снова теснили красные казаков, и снова манили посулами. Мы держались уже из последних сил, но тут вдруг крепко ударили добровольцы Деникина и погнали большевиков! 19-й год стал годом надежд; казалось, что совсем чуть-чуть, и мы пересилим врага, что кровавое безумство наконец-то прекратится. Везде, куда шли мы единым фронтом, – везде нас ждали победа и успех! Царицын наконец-то был наш, казаки Мамонтова дошли уже до Ельца, уничтожая гарнизоны большевиков и разрушая коммуникации.

Казалось, остался последний рывок; мы шли на Москву, и я находился в передовых частях. Так получилось, что моя колонна оказалась возле родного города; я уже видел блики солнца на золотых маковках любимых церквей!

И тут вдруг фронт в одночасье рухнул. С тыла ударили махновцы, красные сумели подготовить мощный встречный удар. Они также дрались смело и ожесточённо, у них была своя правда. Мы побежали...

Только я больше не находил в себе сил отступить, пятиться, спастись. Не было больше ни душевных, ни физических сил продолжить войну. И я сдался.

На всё Господь: чуть ли не став офицером ещё на германской, я затем так и остался унтером и в казачьих войсках, и в частях ВСЮР. Иногда было обидно – столько лет воевал простым пулемётчиком! – но сейчас я имею твёрдое убеждение, что именно это меня и спасло. Переходы на сторону врага были привычным делом; к казакам и добровольцам часто сдавались в полном составе даже крупные соединения большевиков. Теперь ситуация обернулась: уже красным сдавались казаки, офицеры, рядовые бойцы. Правда, офицеров не особо жаловали, а вот казаков и солдат, унтеров пощадили... и мобилизовали: у советского государства на западе появился новый враг – Польша.

С ляхами я и дрался до 21-го года, до очередного, теперь уже тяжёлого ранения, после которого еле выкарабкался. Так и демобилизовался – старшиной, командиром пулемётного расчёта.

Вернулся домой, нашёл маму. Пришли с ней в отчий дом. Небольшой и деревянный, его, тем не менее, уже заселили ещё одной семьёй.

Железнодорожники – что ты, особая каста! С трудом прописались в собственном жилище, в маленькую комнатёнку; семья соседей была больше. Её глава Пантелеев Иван Яковлевич, здоровый пузатый мужик, любил, подвыпив, хвастать, как лихо они с матросами громили винные склады Заусайловых, как метко он стрелял из маузера в казаков Мамонтова. При этом обязательно старался задрать меня: «Вот, победила наша власть! Теперь всё честно распределено, не одним буржуйам жировать!»

Это мы-то с матерью буржуи? Это мы-то жировали? Хотелось ответить: «Кто крепко работал, у того и был свой угол, а кто всё пропивал, тот и ходил всю жизнь с голой жопой!»

Конечно, молчал я, ибо такие слова противоречили основам революционной идеологии. Могли доложить кому надо, а ведь я бывшая «контра». Но как-то раз, совсем взбесившись, схватил Пантелеева за горло да прижал к стенке со словами: «Ты обе войны на жопе в тылу сидел, под бабской юбкой прятался, а я кровь свою лил! С германцами честно дрался, а что с белыми ошибся – так после в боях с ляхами искупил! Рубаху расстегнуть, грудь показать?! Весь осколками посечён, пулевых ранений сколько! Ты со старшиной Красной армии разговариваешь, мразь пьяная, а я за революцию дрался!»

Тут подлетела жена его, Вера, начала меня оттаскивать, успокаивать, на мужа сама заматываться – он-де пьян, не знает, чего несёт. Ну, конечно, а сама-то нос не задирала, как барыня, с матерью моей не разговаривала?

Ладно. Я свою ярость больше изобразил, ибо на деле участие в белом движении стало для меня клеймом. Я не мог устроиться ни на одну нормальную работу, на улице в мою сторону только что пальцем не показывали. Выживали с матушкой как могли, я чернорабочим, мать же неплохо шила. И пойдя Пантелеев куда надо доложить (да изобразив всё, как ему выгодно), у нас могли бы возникнуть очень большие неприятности.

Но Иван Яковлевич после этого случая, наоборот, присмирел, уважительней вести себя начал, даже меньше за воротник пропускать.

Ещё у Пантелеевых были дети. Двое деток-сорванцов школьного возраста и старшая дочь, Оля, ничего себе такая девушка, всё при ней. Я бросал на неё невольные мужские взгляды, и она их порой замечала. Но при этом демонстрировала такое холодное презрение, что пропадало всякое желание даже просто с ней заговорить.

Однако же послевоенное время было крайне непростым. Во время обеих революций со дна жизни поднялась отборная мразь: воры, грабители, мародёры. Почему-то новая власть считала их близким социальным элементом (и с чего бы?!); ряды бандитов пополнялись за счёт бесчисленного числа беспризорников и тех мужиков, кто за войну слишком сильно привык к крови. Новая милиция честно боролась с воровским разгулом, но поначалу стражам порядка просто не хватало ни людей, ни средств.

Так получилось, что Ольку заметил кто-то из молодых воров. Пробовал, если это можно так назвать, ухаживать. Она, молодец, ни в какую. Но разве можно таких людей остановить простым словом «нет»?

Возвращался я как-то летом домой затемно, слышу в кустах шорох да приглушённый сип. Ну, подумал, дело-то молодое, и уже мимо намеривался пройти. Да только услышал короткий, приглушённый вскрик, вроде кому рот зажимают.

Тут уж я в кусты вломился. Ворёнок лежит верхом на Ольке, платье у той полуразорвано; одной рукой рот ей зажимает, другой брюки себе расстёгивает.

Дальше помню плохо, будто в полутьме. Короткая, резкая боль в правом запястье... Чужая плоть под кулаками, затем под пальцами... И собственная ненависть, яркая, звериная... Не повезло ему тогда оказаться на моём пути: весь свой гнев, который я два года копил в себе, я в несколько мгновений излил на насильника. В себя пришёл, когда этот урод уже не дёргался.

...Возвращались в сумерках вдвоём; я помогал идти потрясённой девушке, укрыв её своим пиджаком. Олю трясло крупной дрожью, она не могла вымолвить не слова. Когда пришли, Иван чуть ли не бросился на меня, поначалу подумав, что это я его дочь изнасиловать пытался (и изнасиловал). Но вовремя увидел мою порезанную, ещё кровоточащую руку и всё понял.

Несколько дней мы не разговаривали. Олины родители старались не возвращаться к случившемуся, девушка вообще не показывалась из-за своего угла. Да и я решил дома пересидеть, благо постоянной работы не было. Боялся, что воры могут сопоставить гибель одного из своих с моими порезами. К тому же я наверняка не знал, как поступит девушка: мало ли, у них всё

по любви было, да она в последний момент упёрлась? Я же его на её глазах придушил, вдруг она теперь меня ментам сдаст!?

Матушку я на всякий пожарный к родне в деревню отправил и, как оказалось, сделал правильно. Правда, не из-за опасений...

Оля пришла ко мне сама. И первым, что я почувствовал, был горячий, требовательный поцелуй девушки. Ощувив же жар гибкого, стройного девичьего тела, я мигом потерял голову... Молодость взяла своё.

За одну ночь мы стали с ней мужем и женой, а в конце недели расписались. Практически сразу я уговорил Ольгу венчаться – многие храмы и церкви ещё действовали.

...Но гонения на церковь в 20-е только набирали обороты. Большевики закрывали храмы, арестовывали священников, монахов, прихожан; посещать службы стало просто опасно. Правда, некоторые верующие набирались смелости просить открыть приходы, и иногда эти просьбы даже удовлетворялись! Но в таком случае власти присылали священников-обновленцев, из числа тех, кто принял и восхвалял советскую власть со всем её террором, тех, кто нападал на Патриарха. Конечно, верующие не желали себе таких пастырей.

Некоторые мужчины из числа прихожан глухо роптали, но никаких активных действий никто не принимал – не было смысла. Гражданская проиграна, а любое выступление против гонений лишь обернулось бы очередной кровью; кроме того, большевики получили бы официальный повод ещё сильнее ужесточить преследования. Да и самыми громкими и яростными возмущающимися были, как правило, провокаторы.

...Постепенно я стал всё реже посещать службы. Большие праздники вроде Троицы, Рождества и Пасхи собирали многих прихожан, тогда идти на литургию было относительно безопасно. В остальные же дни число посетителей храмов было незначительным, их знали наперечёт.

А у меня с одной стороны – участие в белом движении, с другой – мать, жена и двое мальцов. Имел ли я право рисковать собой, зная, что без меня вряд ли кто сможет им помочь, позаботиться? Вот и малодушничал потихоньку, ежедневно моля Господа о прощении...

Не знаю, было ли моё поведение правильным в эти безбожные времена. С одной стороны, я ведь продолжал молиться, а с другой – отказался от главного долга православного христианина, от защиты своей веры.

Правда, когда узнал, что в Соборе безбожники рубят и сжигают иконы, одновременно вытапливая золото и серебро с иконостаса («каждая капля драгоценного металла должна быть учтена!»), чаша терпения прорвалась. Глаза закрыла кровавая пелена, и способность ясно мыслить я утратил. Схватил топор и бросился к Собору.

Но на половине пути меня перехватили мать и жена. Вцепились в руки, в ноги, умоляли, рыдали. Вначале я просто их отшвырнул, но они вновь бросились ко мне, мать на колени встала... 1938 год, если бы я добрался до тех, кто уничтожал святыни, позже семью бы не пощадили. Да и не навоевал бы я много с топором: понимая определённые риски, руководство, пошедшее на этот шаг, обеспечило милицейское оцепление; сотрудники имели при себе оружие.

Но после случившегося я окончательно сломался. В это время в городе шли очередные чистки среди верующих. Арестовывали последних уцелевших священников, монахов, прихожан. Их расстреливали, решения по выносу приговора принимались «тройками» НКВД. Вскоре под эту молотилку попал и я...

Ожидая неминуемый расстрел, я долго размышлял, почему Господь попустил такое? Почему страна, бывшая центром православия, страна-освободительница, остановившая и повернувшая вспять турецкую экспансию и сломавшая хребет полчищам Наполеона, – почему она вдруг погибла в считанные дни?! Почему?! Почему тыл рухнул именно тогда, когда русская императорская армия была готова нанести заключительный удар по немцам?

Ответ на вопрос был только один: Господь тогда нам послал столь страшные искупительные скорби, когда чаша Его терпения переполнилась. И при внешнем налёте православия русские образца 1914 года практически перестали быть верующими. Вера, христианское мировоззрение православного человека, обратной стороной которого были честность, порядочность и сердечная теплота, человеческое участие и готовность прийти на помощь, – всё это перестало быть нормой жизни. Как перестала быть православная вера духовным стержнем русского человека.

Раньше, когда люди жили в непростые, а порой и жестокие времена, когда человеку ежедневно угрожала опасность, он находил силы и поддержку у Господа, искренне, с сердцем к Нему обращался. Когда же уровень жизни в значительной степени вырос, когда жить стало просто и безопасно – эта потребность отпала.

Много ли оставалось христианского в искусстве, в поэзии, в письме – да и в самом образе жизни? Разве не стало модным чуть ли не в открытую презирать и насмехаться над верующими людьми, считая религиозность и набожность пережитками прошлого? Разве не убивали мужчины друг друга на дуэлях (смертный грех!) из-за гордыни, разве не кончали жизнь самоубийством от отчаяния и скорби? Разве не жили до брака с не-мужьями и не-жёнами, теряя невинность, отдаваясь греху похоти?

Разве честны были друг с другом, хоть в семье, хоть на работе, хоть с друзьями? Или зачастую совершали грех лжи? Разве не зачерствели человеческие сердца, разве не равнодушно люди взирали на чужую беду? Разве думали при жизни о том, как заслужить себе Царство Небесное, как бороться с собственным грехом да совершить поболее дел благих (не гордыню свою теша, а во Славу Божью)?!

Да нет, момоне люди служили, животу своему, всё больше денег жаждали заработать, всё вкуснее и сытнее поесть, всё ярче да побогаче одеться. Бахвалились друг перед другом богатством своим, а не укрепляли ближнего своего на доброй стезе, не помогали страждущим...

И разве предвоенное духовенство не стяжало себе богатство, тем самым отворачивая от себя многих людей? Разве не поповские дочки были самыми откормленными, одевающимися в самые дорогие (по меркам рядового мещанства) наряды? Разве сыны священников терпели голод или иную нужду на учёбе?

Конечно, далеко не все служители церкви поддались греху стяжательства. Было много и таких (и наверняка в общей сумме и больше), как отец Николай Брянцев, кто не только самоотверженно служил в доме Божьем, но и вёл борьбу за сердца и души прихожан (и не только) за стенами церкви. Но ведь люди почему-то не желали видеть духовные подвиги таких людей, не желали следовать их примеру. Нет, они с восторгом передавали друг другу сплетни об отступничестве священников, что мгновенно обрастали множеством сказочных подробностей. А почему? А потому, что гораздо легче увидеть дурное в служителе Церкви и оправдать его грехами собственные несовершенства и преступления, чем принять пример благочестивых и следовать ему. Ведь совершая благие дела, творя добро, люди зачастую жертвуют малым (деньгами, временем, силами), чтобы обрести Царство Небесное; вот только деньги, время, усилия – это измеримые величины, нужные сейчас, а Царство Небесное – да когда оно наступит, после смерти? И наступит ли? Нет, мы хотим всё и сразу именно сегодня!

...В любом случае, подчинение структуры священнослужителей государству, упразднение Патриаршего поста были необдуманном шагом, повлёкшим за собой многие негативные последствия в виде частичного разложения духовенства. Хотя кто тогда, в начале 18-го века, об этом задумывался?

И вот некогда православный народ отвернулся от Бога. И были посланы искупительные скорби – война. Но, увы, она не объединила людей в едином порыве, а разделила их. Патриоты рвались на фронт, помогали, чем могли, в тылу. Но праздная жизнь в стране не закончилась; действовали всё те же увеселительные заведения, и многие, кто имел достаточный достаток и

связи, продолжали жить как ни в чём не бывало. Более того: хулили царя, пускали про него и его ближних всякого рода слухи и пересуды; жизнь царской семьи была объектом сплетен. А главное – в тылу готовился переворот, теперь-то я знаю. И в спину главнокомандующего, что готов был последним сокрушительным ударом смести врага (подняв тем самым международный авторитет державы и свой собственный на недостижимую высоту), нанесли смертельный удар.

Имел ли место быть сам факт отречения царя, совершилось ли оно под внешним давлением или его просто фальсифицировали – кто знает. Но народ отречение, явное или фальшивое, принял и ударился в страшные грехи: крестьяне грабили и жгли поместья, солдаты поднимали офицеров на штыки и массово дезертировали, а дворяне, интеллигенция, купечество – они метались из стороны в сторону, из одного лагеря в другой... Но мало кто в эти дни повернулся к Богу; мало кто вспомнил сам и заставил вспомнить других о человеке, смысл жизни которого и заключался в служение стране и народу. Мало кто вспомнил о царе.

И тогда пришли ещё более жестокие скорби, вторая революция и гражданская война. Были моменты, когда казалось, что белые, олицетворяющие собой старую, набожную и православную Россию, победят, изгонят безбожников. Но разве они сами всем сердцем молили Господа о победе? Разве в тылу Колчака не зверствовали Семёнов и атаманы поменьше, настраивая населения против Верховного правителя? Разве на освобождённой от красных территории не приходили ли казаки в дома тех братьев, что обманулись и пошли с врагом, разве щадили они их родных? Когда да, а когда и нет... Разве в тылу Деникина не было мародёрства и грабежей, разве сами беляки не переходили последнюю черту ожесточения, превращаясь в лютых, беспощадных зверей?

Нет, народ тогда к Господу не обернулся, не призвал Его всем сердцем... А после было только хуже. Гонения на церковь (священников, прихожан, монахов) развернулись со страшной силой. Нерон, травивший первых христиан на арене Колизея и распинавший их, – и тот бы не додумался набить людьми деревянный вагон под завязку – так, чтобы и пошевелиться было невозможно, – и запустить туда кучу голодных крыс. Да, так мучили не отрёкшихся, оставшихся стоять на своём христиан на Соловках.

...Я слышал истории о монашеской братии и священниках, что вели разгульную жизнь до революции, забыв о Господе, и что сумели принять истинно мученический венец, выбрав между отречением от Бога и смертью смерть. Они спаслись, наследуя Царство Небесное через венец мученичества.

Но мы, простой народ, что хранил ещё веру в глубине души, – мы своим бездействием отреклись от Господа. Мы безмолвствовали, когда хулили святые в печати и вслух, мы бездействовали, когда убивали истинных христиан, что не побоялись постоять за веру, мы сидели сложа руки, когда разрушали храмы и сжигали иконы. И что мы ждали, на что надеялись? Создатель утопил первую цивилизацию грешников, уничтожил небесным огнём Содом и Гоморру. Есть ли у нас шанс выстоять теперь или немцы неудержимым катком сомнут нас?

Я всё же надеюсь, что есть... В своё время я избежал расстрела. Вроде и бывшая «контра», но не нашлось вдруг людей, кто хотел бы меня очернить.

Может быть, потому, что всю свою жизнь, терпеливо снося унижения и оскорбления, я всегда помогал людям, когда имел такую возможность? Или потому, что у меня, не имевшего даже относительно стабильного заработка, нечему было завидовать? Ведь многих посадили по доносам клеветников и завистников... Я дотянул до 39-го, когда НКВД возглавил Берия. Гигантский, неудержимо раскрученный маховик репрессий утомили, многих бесчестных людей, запросто губивших невинных, самих отправили на плаху. Послабления были сделаны тем, кого репрессировали за веру, да и многих невинных отпустили, в том числе и меня.

...Я заметил, что в последние годы советская власть стала меняться, переставая быть «интернациональной», «революционной». Если я прав, Сталин разворачивает свою политику

на преемственность к Российской империи, – иначе почему ветеранам японской и империалистической войн вновь разрешили носить георгиевские кресты, почему вновь создают казачьи дивизии и вернули из небытия само имя казаков? Чем ещё можно объяснить послабление гонений на верующих? Почему в школах вновь изучают историю страны, прославляя подвиги Дмитрия Донского и Александра Невского, Суворова и Ушакова? Ведь двое из них причислены к лику святых (Ушаков и Невский), а Донского чтут как святого?

Но если руководство страны и начало вдруг прозревать, то на местах во множестве остались всё те же душегубцы, что заседали в «тройках». И сами люди, проявившие столь много подлости во время репрессий, мало изменились...

И всё же я думаю, что фашисты – это не последняя для нас кара, а искупительная скорбь. Ведь призвал же Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергей сражаться с иноземным захватчиком ещё 22 июня, до выступления Молотова? Ведь стали же открывать осенью церкви, ведь разрешил же Сталин своеобразный крестный ход – когда пролетели над Москвой самолёты с повешенной между ними Чудотворной иконой Тихвинской Божьей Матери? Ведь отвернулся вождь советов от обновленцев, всячески благоволя православной церкви! Значит, есть у нас шанс ещё на милость Господа, есть ещё шанс искупить наши грехи и сохранить жизнь детей!

...Митька начал мирно посапывать. Сомлел парнишка... Совсем ещё ребёнок, ровесник моих пацанов. Старшего я в своё время сумел отучить в железнодорожном техникуме и пристроить на железную дорогу. Серёжка зарекомендовал себя с лучшей стороны, его эвакуировали как ценного специалиста – ценой дедовского авторитета и значительного магарыча.

Младшего, Володьку, я с женой и старушкой-матерью всеми правдами и неправдами сумел отправить в тыл к дальней родне. 15-летнего мальчика пытались загнать в полк народного ополчения, но я упёрся: достаточно меня одного, битого волка, за двоих драться буду.

...Вот только тыл этот больно близок. Так что мне назад хода нет, буду за дом свой отчий драться, за семью свою.

Мои мысли отвлек послышавшийся впереди звук бряцающего металла.

– Димка, Дим... вставай.

Мальчишка встряхнул головой и попытался резко вскочить. Пришлось крепко так вмазать ему под дых – чтоб лишнего звука не произвёл.

– Слышишь, впереди шаги? Кажись, немцы тюрьму обошли. Сейчас потеха начнётся. Давай-ка сюда гранату и дуй к командиру, к Спруге, да тихо.

Парень ошалело на меня уставился:

– А вы, дядя Гриша?

– А я уж тут как-нибудь сам. Встречу немцев, напомним им 16-й год. Ну давай, только тихо.

...Немцы движутся практически бесшумно. Обрывки приглушённых команд звучат совсем глухо; если бы не предательский металл, они, быть может, и смогли бы взять нас с одного удара.

Пудобнее устраиваюсь. Расслабляю мышцы, одновременно чувствуя, как по венам всё быстрее бежит кровь, как бешено застучало сердце... Меня вновь охватывает давно забытое волнение боя.

Вот и дорогие камрады, всего в 20 шагах. Указательный палец плавно тянет за спуск...

Выстрел из двустволки глушит, как раскат грома. Миготом откатываюсь в сторону – за секунду до немецкого залпа.

Ночь за несколько мгновений превращается в день: Гансы открывают плотный, но слепой огонь, одновременно по обозначившим себя стрелкам начинают бить партизаны. Оружия у последних маловато, зато стреляют сверху вниз, из окон больницы.

Я до предела вжимаюсь в землю, одновременно нашаривая в карманах гранаты, – враг совсем рядом с парком, где я прячусь. Первая самоделка летит в сторону заговорившего по окнам пулемётного расчёта, вторая к раздающему властные команды унтеру (а может, и офицеру).

Пулемётчики вскакивают, но тут же звучит взрыв. Я явственно вижу, как одного немца отшвырнуло в сторону. А унтер молодец, залёг. Впрочем, взрыв всё равно его зацепил – гранаты на табачке штампуют что надо.

Стрельба из окон усиливается. Немцы несколько замешкались после взрыва гранат, но человек семь бросилось в парк. Они не заметили меня, просто деревья послужат им хоть какой-то защитой.

Или не послужат. Второй заряд дробы бьёт в компактную группу из трёх человек. Двое падают. Третий вскидывает винтовку, стреляет. Пуля бьёт довольно близко, но я вновь ухожу перекатом. Трясущимися руками забиваю патроны в стволы – пробрало!

– УРР-РА-А-А!

За спиной раздаётся раскатистый боевой клич – Спруте (комбат, бывший милиционер) поднял бойцов в атаку. Может, и правильно, всё равно ведь оружия не хватает.

Противник откатывается назад, одновременно запуская осветительные ракеты.

– ЛОЖИСЬ!!!

Куда там! Возбуждённые страхом и опасностью, молодые пацаны и возрастные уже мужики выскакивают вперёд, под прицельные очереди пулемётчиков. Первый ряд немцы выкашивают напрочь.

– Да ложитесь же!

Бойцы наконец-то выполняют запоздалую команду. Но не разумом, а рефлекторно, почувствовав близкую смерть. Ещё чуть-чуть, и инстинкт погонит их назад, пока фрицы будут бить в спину.

Подбегаю к залёгшим:

– Гранаты! Гранаты к бою!!!

Падаю на землю, вовремя: короткая очередь проходит над головой.

Бойцы бросают гранаты. Многие не долетают, а некоторые не взрываются – возбуждённые страхом, люди просто не поставили их на боевой взвод. Но и та часть что долетела, крепко бьёт по фрицам.

– Вперёд, за Родину, УРА!!!

Миг, пока противник ошеломлён, нужно использовать. Поднимаюсь с боевым кличем, рывком бросаюсь вперёд. Назад не оборачиваюсь: поднялись – молодцы, нет – на миру и смерть красна!

Дружный рёв позади убеждает меня в том, что поднялись.

Встают и немцы. Только два расчёта продолжают вести огонь, установив пулемёты на плечи камрадов. Но мы уже практически добежали...

Ганс впереди вскидывает винтовку. Не целясь, тяну за спуск: дробь бьёт широко, свалив противника и зацепив кого-то сзади. Ещё один прыгает на меня, колет длинным выпадом. Взвести второй курок времени нет; парирую укол стволом ружья и заученно бью прикладом в челюсть.

Взвожу курок, выстрел! Падает унтер, поливающий наших автоматным огнём. Жрите, мрази!

Правый бок словно обжигает. Мгновение спустя приходит боль; ноги подламываются в коленях. Немец вырывает узкое лезвие штык-ножа из моей плоти и бежит куда-то вперёд. Вот и всё...

...Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного... Прости рабу Григорию его бесчисленные смертные грехи и прими его в Царствие Свое... Защити, Господи, близких

моих на земле грешной, Спаси их и Сохрани – Серезжу и Володю, супругу мою Ольгу и маму Ирину... Даруй, Господи, победу воинству русскому, помоги ему остановить врага...

В руке твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты же мя помилуй и живот вечный даруй ми... Аминь...

Глава 3

4 декабря 1941 г.

Центральная часть города.

Сержант Фёдор Аникеев, командир пулемётного расчёта 496-го стрелкового полка.

...Пуля ударила совсем рядом, выбив кирпичную крошку с угла здания. По лицу больно бьёт глиняная щепка, поцарапав кожу; несколько ошеломлённый, я укрываюсь от вражеского огня за импровизированным бруствером из деревянных плах.

Немцы – вояки умелые, в этом пришлось убедиться и сегодня, видя, как грамотно они ведут уличный бой. Пулемётчики и снайперы оседлали все высотные здания, докуда добрались, – а в городе полно недействующих церквей. Захватывая и превращая в опорные пункты угловые дома на перекрестках, они обеспечили себе отличный обстрел вдоль улиц.

Наступают не толпой, а мобильными группами не больше отделения. Двигаются, держась стен, занимая или очередные дома, или углубляясь вглубь кварталов. Созданная система перекрёстного огня служит им отличным прикрытием.

Фрицев поддерживает и артиллерия. Катят перед собой лёгкие пушечки, укрытые броневыми щитками, и безнаказанно расстреливают занятые нашими дома, пулемётные гнёзда. Крепко добавляют из миномётов. Хорошо хоть сюда ещё не докатились...

Меня прижимает пулемёт на колокольне Покровской церкви. Пока дивизия переформировывалась в Ельце, я неплохо изучил город, его географию и историю, знаю, о чём говорю.

– Рукожопы хреновы! Куда ж вы, долбодятлы-то, смотрели?!

Пользуясь секундной передышкой и набивая в уцелевший диск последние патроны, я не удержался от брани в адрес нашего командования. Ну как? Ну как на хрен так, что находящиеся в городе части воюют порознь, не зная, где кто располагается, без поддержки соседа?! Почему с начала войны мы не можем наладить элементарную связь и боевое взаимодействие?! Мало нас били, ещё надо?!

654-й вроде как удерживал тюрьму Крепкие станы цитадели и множество её окон, плюс внешний обвод стен с колючей проволокой, позволили нашим создать там крепкий узел обороны; опираясь на него, они держали позиции севернее, на Орловском шоссе.

Но почему, мл. ть, город остался открытым со стороны женского монастыря и Чёрной слободы? Почему бойцы 143-й стрелковой стояли левее тюрьмы, заняв позиции у противотанкового рва рядом с кладбищем? Чего бы их не выдвинуть на другой фланг или хотя бы выставить нормальное боевое охранение?

Почему, в конце-то концов, когда с фрицами в районе больницы схватился истребительный батальон, нас не бросили на помощь? Много там могли навоевать молодняк и возрастные мужики с минимумом вооружения?

– Твою ж!

Отдача дерева от удара пулемётной очереди крепко меня встряхнула, последние патроны я выронил в снег. Приходится лихорадочно ворошить его, разыскивая ценный боеприпас.

1344. Если верить трофейным часам, я веду бой уже 6 часов. За это время немцы неплохо продвинулись. Если в районе стадиона и театра бойцы 654-го полка и 143-й стрелковой ещё держатся, то мы с Чёрной слободы непрерывно откатываемся – сильнее нас фрицы, крепче в уличном бою!

Патроны к трофейному пулемёту кончились, да и неудобно с ним отступать, болтающиеся ленты мешаются. Ещё одного бойца мне в помощники не дали, а Василию я свой ДП отдал. Так он, горячая голова, с немецким пулемётчиком в дуэль вступил, когда фрицы заняли коло-

кольню Владимирского храма. Унесли моего товарища с наспех перебинтованной прострелянной шеей, выкарабкается или нет – не знаю...

У меня кончаются патроны. И другого выхода, как схватка практически один на один с пулемётным расчётом врага (которую мой второй номер уже проиграл), у меня нет.

Всё, характерный щелчок вставляемого в паз диска. Сейчас, сейчас...

Дышу глубоко, судорожно, тяну время перед неизбежным концом. Оно понятно – высунусь, а немец, падла, ждёт. И уйти не могу – хоть засел я рядом с кирпичным домом, только с другой его стороны улицу тоже немцы держат.

Наши назад уже откатились, я замешкался, остатки взвода прикрывая. А теперь уже всё...

Кровь стынет в жилах от понимания, что сейчас нужно будет встать и умереть. Про плен мыслей нет: «Лучше смерть, чем полон». Да и нельзя: немцы, может, и не пристрелят, если встану, подняв руки (что вряд ли!), так наши-то увидят. Слух пройдёт мгновенно, а добровольная сдача приравнивается к измене Родине. Родных за такое по головке не погладят.

Ну, давай уже, вставай. Перед смертью-то не надьшишься...

Рядом что-то падает в снег, и ещё. По спине ровно льдом проводят: гранаты!

– Аникеев! Сейчас дым пойдёт, разом тикай!

Ого! Белик, взводный, не забыл меня! Закатили товарищи трофейные дымовые гранаты, сейчас под завесой можно и уйти!

Немцы поняли замысел противника, открыли плотный огонь по моей площадке дров. Дерево отдаёт в спину от каждой пули. Но ничего, а мы вот так, перекаतिकом, перекаतिकом, под прикрытие дома. Так. А теперь на полусогнутых – и вперёд!

...– Влад, родной, век не забуду!

Взводный весело скалится в ответ. Выручил старого боевого товарища из очередной передраги, чего б ему не улыбнуться.

Хотя сколько знаю нашего «физкультурника», он вечно улыбается, по ситуации и без. Не потому, что дурак, нет, а потому, что оптимист. Но лейтенант умеет расположить к себе своей открытостью и любовью к доброй шутке, девкам и бабам нравится.

По распределению из училища он попал в Энгельс, перед самой отправкой на фронт. В первые дни мы толком не успели познакомиться со взводным – стояла невообразимая суета. Своё прозвище он получил уже в эшелоне, когда заставил мающихся от безделья и ожидания бойцов отжиматься, приседать и выполнять приёмы борьбы «самбо», что изучал в пехотном училище. Не сказать, что мы были в восторге, за что и наградили взводного пренебрежительным прозвищем. Хотя, с другой стороны, спорт действительно отвлекал, а некоторые разученные приёмы мне дажегодились в рукопашных.

Белик старался дистанцироваться от подчинённых, поставить себя над взводом, и до боёв у него это получалось. Но первые же схватки сроднили командира и бойцов. Особенно кода от взвода осталось 6 человек...

– Командир, нас сейчас сомнут, у меня два диска к ДП, один пустой. Сверху содят, гады... А от Собора улицы к низу идут, там мы у немцев всё время на прицеле будем. И 654-й они отрежут, погибнет полк!

– Умный, да?! Может, что предложишь?

И снова ухмыляется командир, да только измученно, измождённо. Что говорить, если от не до конца сформированного взвода осталось чуть более 30 человек, а враг неудержимо давит?

– Есть предложение, командир, есть. Только надо с комроты и, возможно, с комбатом согласовать.

Белик напряжённо смотрит на меня, улыбку с лица стёр.

– Ну?!

– Я про подземный ход, он ведь от Собора к Чёрной слободе идёт...

...Бой за Казинку закончился нашей победой, причём настоящей победой. Враг не просто отступил, сохраняя порядок и жёстко огрызаясь, как много раз до того; снова отличились зенитчики. Они уделали целых три тягача, тащивших полковые гаубицы; одну уничтожили вместе с машиной. Также под раздачу попали две автомашины с пехотой; очереди 37-мм осколочных снарядов превратили людей в жуткий фарш, куски тел валялись вокруг в радиусе 30 метров. Этот удар наших артиллеристов заставил немцев если не в панике бежать, то ретироваться со всей возможной поспешностью.

После боя полк всем составом вывели в город. Немцы уже вели обстрел Ельца (бессистемный, но всё же), администрация контроль над гражданскими службами утратила. Да и была ли она на месте? По крайней мере, большинство защитников порядка в это время находилось уже в партизанском отряде.

Так вот, люди, несмотря на вой снарядов и грохот взрывов, начали мародёрствовать. Расстрельное дело, если посмотреть с одной стороны, а с другой...

Женщины, дети, старики – они выносили из магазинов всё, что можно было унести, что ещё вчера не было возможности купить. Кто-то нёс посуду, кто-то одежду, даже швейные машинки и какие-то картины... Хотя гораздо чаще – продукты питания и предметы первой необходимости: соль, спички, мыло, пуговицы, нитки с иглками, керосиновые фонари, топливо. Никто не верил, что мы удержим немца, хотя удачный бой приободрил бойцов. Да и свыклись мы с Ельцом за практически месяц, проведённый в городе. Ребята в коротких увольнениях знакомились с местными девушками и молодыми женщинами, крутили короткие романы и даже серьёзно влюблялись. Пополнение же набиралось из местных, и мужики готовились драться за родной дом до конца.

Но немец пёр неудержимо. Бои шли уже на окраинах, противник занял станции Бабарыкино и Телегино, Александровку. И хотя радио, почта и узел связи работали, хотя функционировала электростанция, люди почувствовали бесконтрольность со стороны гражданской и военной администрации, а это могло означать лишь одно – город не удержат.

Магазины грабили на наших глазах. Но бойцы, понимая, что при немцах гражданским будет крайне тяжело достать хоть что-то, не вмешивались. Не стрелять же по своим, зачастую знакомым людям? Уж лучше им достанется добро, чем врагу.

Многие магазины, в том числе ГУМ, находились на центральной улице – торговой. Я смотрел, как люди разбивают двери и окна, как распихивают друг друга, пытаясь забрать что-то дорогое, как роняют награбленное, не в силах унести всё, что схватили в жадности своей... Было горько смотреть на падение достоинства, наблюдать, как страх и безнаказанность позволяют выползти наружу самой грязи, самым худшим человеческим качествам.

– Мама! Мама!! Мам...

Пронзительный детский крик привлёк моё внимание. Рядом с продуктовым магазином стояла маленькая девочка, укутанная в детскую шубку. В её глазах стояли слёзы; ребёнок отчаянно звал куда-то пропавшую мать.

Меня словно громом поразило, так стало жалко маленького, беспомощного ребёнка. Кроме того, девочка была очень похожа на мою племянницу. Вроде и черты лица те же, и взгляд родной, и даже кричит знакомо. На секунду мне подумалось, что брат почему-то оказался в Ельце. Искал меня?

Нет. К девочке подлетела женщина. Мама? Она подняла на меня глаза, и я понял: нет, не мама. И не женщина, а молоденькая и очень красивая девушка. Наверное, сестра.

Худенькая, белого цвета кожи, с иссиня-чёрными волнистыми волосами, с правильными чертами лица и полными нежно-розовыми губками. Но что больше всего кольнуло моё сердце, так это огромные, светло-карие, невероятно тёплые глаза; посмотрела на меня – и будто солнышко ясное пригрело. Впервые я такие глаза видел.

Мы случайно скрестили взгляды, и девушка не отводила свой секунд десять – значит, я ей тоже глянулся! Уже было собрался шаг навстречу сделать, да ребёнок ещё пуше заплакал, она его подхватила и унесла. А я столбом стоял, вслед смотрел. Проводить бы, так ведь на посту...

– Эх, гарна дивчина, хлопец! Да больно тощая. Но немцу, я слышал, тощие нравятся, как пить дать, насилуют.

Бешеная ярость ударила в голову. Я схватил за грудки гадко лыбящегося хохла-сержанта, что выслуживался перед своим взводным и старшиной, планируя занять должность его помощника. Он никогда не лез в бою вперёд и уцелел в Смоленских боях не благодаря мужеству и воинской удаче, а лишь постоянно держась в хвосте.

– Ты, мррразь!!! Ничего святого нет, да? У тебя на родине немец бесчинствует, так ты теперь и здесь драпать хочешь? Нет уж, дудки, не пройдёт! Сегодня же ротному доложу, что панические слухи распускаешь!

Хохол, достаточно крупный, чтобы вырваться, зло бросил в ответ:

– Херой! Только и могёшь перед ротным на цирлах выступать! Ну и беги, стукай!

– Я не стучаю, я тебя, мразь трусливая, предупреждаю: ещё раз увижу тебя в хвосте, лично грохну, хоть ты и не из моего взвода!

– Ой-ой-ой, напужал! Пужалка у тебя не выросла!

Васька вцепился мне в руку:

– Пойдём Гриша, пойдём. Не цепляйся ты с ним, говно не трогают, оно и не воняет. Я эту девушку знаю, её Лерой зовут. Живёт в Засосне. Хочешь, потом познакомлю?

Отойдя в сторону, ответил:

– Хочу, брат, хочу! Да только видишь, не до знакомств сейчас, немец уже припёр. Эх, хоть бы день назад её встретить!

Второй номер внимательно и серьёзно посмотрел мне в глаза:

– Что думаешь, Гриш, оставим город?

Больно мне тогда было сказать правду боевому товарищу:

– Если приказ будет, оставим. Мы военнослужащие, подчиняемся приказам. Скорее всего, командование поостережётся, что город могут в кольцо взять, сам знаешь, фланги у нас слабые. Ведь вся дивизия тогда в ловушке окажется.

Но Василий, качнув головой, ответил:

– А я думаю, что мы воины. И должны землю свою защищать, родных и любимых. Видел плакат: «Родина-мать зовёт»? Моя Родина – здесь. Как же я могу отступить?

– Не глупи. Приказ есть приказ, не выполнить его нельзя.

– Кто-то должен будет прикрывать отход подразделений. Попрошусь в добровольцы, останусь здесь. Покуда жив – враг в моём городе править не станет.

Эх, зря я тогда был с ним столь откровенен. В яростной схватке с вражеским пулемётчиком Василий словно искал свою смерть...

На площади громыхнул разорвавшийся снаряд. Из гаубиц лупят, твари, не иначе. С неприятным звоном посыпались уцелевшие стёкла на витринах магазинов.

– Все в бомбоубежище, бегом!

Город изрыт противоснарядными щелями, а в глубоких подвалах каменных зданий и церквей устроены бомбоубежища. Одно из них располагалось буквально в 20 метрах от нашего поста.

Спускаемся на изрядную глубину, метров шесть, не иначе. Рядом толкаются мальчишки с коньками.

– Эх, пацаны! Куда вас нелёгкая несёт, за коньками под обстрелом?

– Так не купишь их, товарищ командир, а снаряды – ничего, Бог не выдаст, свинья не съест!

Мальчишки улыбаются, довольные своей удачей. А я вспоминаю тела детей, искорёженные и изломанные – кто-то попал под бомбёжку, кто-то под артобстрел. И хоть сердце давно уже выгорело, но всё равно я не люблю воскрешать перед внутренним взором те ужасные картины; с немцем квиваюсь, когда могу. А ребят этих жалко.

– Балбесы! И откуда вы?

– Да со слободы Чёрной!

– Ёлки зелёные, как вы домой попадёте, весь город под обстрелом!

– Да ходом!

Отвечившему мальчишке крепко прилетает в бок. Типа того что: «Молчи, дурак!»

– Так, преступники малолетние! Вы в курсе, что полагается за мародёрство в военное время? Высшая мера! Ну, быстро говорите, что за ход такой?!

– Ничего ты, командир, нам не сделаешь! Тебе за ход узнать надо, а мы не скажем!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.